18+

Северин Ворон

Даниэла. Цена Вечной

Они забрали её имя, её свободу и её дитя. Им стоило забрать всё остальное

Северин Ворон

Даниэла. Цена Вечной. Они забрали её имя, её свободу и её дитя. Им стоило забрать всё остальное.

«Издательские решения»

Ворон С.

Даниэла. Цена Вечной. Они забрали её имя, её свободу и её дитя. Им стоило забрать всё остальное. / С. Ворон — «Издательские решения»,

Она была дочерью древнего рода. Теперь она номер без лица в подземельях османской крепости. Каждый день здесь убивает её по капле: пытками, голодом и ядом разлуки с сыном. Тело отказывается служить, рассудок трещит по швам, но в жилах Даниэлы течет кровь, которая помнит клятвы царей и шепот гор. Пришло время взыскать долг с тех, кто смеялся над её смертью. Но какую цену потребует вечность за право мстить? И сможет ли та, кто умерла внутри, снова обнять своего ребенка?

© Ворон С.
© Издательские решения

Содержание

День когда погасла надежда 6
Дитя Дакиовиллов 13
Крепость 29
Конец ознакомительного фрагмента. 35

Даниэла. Цена Вечной
Они забрали её имя, её свободу и её дитя. Им стоило забрать всё остальное.

Северин Ворон

Дизайнер обложки Александр Николаевич Перелетов

© Северин Ворон, 2026
© Александр Николаевич Перелетов, дизайн обложки, 2026

ISBN 978-5-0070-9815-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

День когда погасла надежда

Наверху раздался тяжёлый топот сапог — будто сам дом содрогнулся под весом чужой жестокости. Грубые голоса выкрикивали что-то на чужом, колючем языке — османские слова сплетались в неразборчивый гул, в котором Даниэла не могла вычленить смысл. Только интонации были ей понятны: в них звенела сталь и пахло дымом. Дверь в дом с грохотом распахнулась, и этот звук отозвался внутри Даниэлы глухим эхом с этим звуком рушилась последняя надежда.

Она затаила дыхание. Время растянулось, превратилось в тягучую, вязкую вечность. А потом свет ударил ей в лицо — внезапный, беспощадный. Кто-то сорвал крышку люка прямо над головой. Яркое пламя факелов обожгло глаза, ослепило после кромешной тьмы, выжгло на сетчатке огненные круги.

— «Burada!» — (Здесь!) — рявкнул чей-то голос, грубый и торжествующий.

Старший башибузук, чьё лицо было изуродовано старым шрамом — будто сама судьба провела по нему кривой клинок и не потрудилась сгладить рубец, — резко направил факел прямо в тёмный угол, где они прятались. Пламя металось, жадно лизало сырые доски, отбрасывая уродливые, дёрганые тени. В этом пляшущем свете даже неподвижные вещи корчились, словно живые.

Увидев едва уловимое движение в углу, янычар коротко, почти небрежно кивнул — словно речь шла не о живых людях, а о вещах, которые пора разложить по местам.

— «Getirin!» — (Приведите!)

Два солдата спрыгнули вниз — с глухим стуком, от которого содрогнулись прогнившие доски пола погреба, не выдержавшие тяжести сапог. Один грубо схватил Даниэлу за волосы, дёрнул вверх, вырывая из укрытия, как зверя из норы. Боль вспыхнула острой иглой, пронзила затылок, но Даниэла даже не успела её осознать — всё её существо сжалось вокруг Романа, который вцепился в её кофту своими пухлыми пальчиками, будто, это была последняя опора.

Второй солдат грубо дёрнул мальчика за плечо.

— Нет! — закричала она. Крик родился не в горле, а где-то глубоко внутри, из самой сути её материнства, из первобытного инстинкта, который старше любых слов и сильнее любой магии. Он сорвался с губ и перешёл в животный вой, когда солдат, не церемонясь, не глядя, не задумываясь ни на миг, вырвал ребёнка из её объятий.

Роман заплакал — тоненько, пронзительно, отчаянно зовя мать. Его ножки в шерстяных чулках беспомощно дёргались, пытаясь нащупать опору, которой больше не было. Этот плач вонзился в сердце Даниэлы, как раскалённое железо, выжигая в нём пустоту.

Она подалась вперёд, готовая ползти, вцепиться зубами, драться ногтями, только бы вернуть его. Но мир взорвался болью: удар прикладом в спину сбил дыхание, вышиб из лёгких весь воздух, превратив крик в беззвучный спазм. Вкус крови и пыли наполнил рот, смешиваясь с горечью поражения, с горечью собственной беспомощности.

Её подняли за шиворот — легко, словно она ничего не весила, словно вся её воля, вся её сила, собранная по крупицам в долгих месяцах борьбы, вдруг стала невесомой, бесполезной.

Сквозь пелену боли и слёз, застилавшую глаза, Даниэла видела лишь спину солдата, который поднял её сына и передал кому-то наверх. Роман тянул к ней ручки — маленькие, беспомощные, отчаянно ищущие её тепла, её защиты.

— Мама! — прозвучало в ночи. Тонко, надломленно, как крик раненой птицы, как последний зов, который невозможно не услышать.

Даниэла не чувствовала боли от удара прикладом — та боль была ничтожной, мелкой, словно царапина на фоне настоящей, разрывающей изнутри агонии. Настоящая боль жила

глубже, в самом центре её существа, там, где только что оторвали кусок живой плоти — её Романа.

Её также выдернули через люк наверх и поволокли наружу — в ночь, полную огня, криков и запаха гари, в мир, где больше не было укрытия, где каждый отблеск пламени казался насмешкой над всеми её надеждами. Она увидела, как её двухлетнего сына передавали другому солдату. Тот усадил мальчика перед собой на коня, неловко, будто не знал, что делать с этой хрупкой ношей, будто ребёнок был для него чем-то непривычным, чуждым, опасным.

Она видела всё как в кошмарном сне.

— Нет! — её крик был не человеческим, а звериным — первобытным, вырвавшимся из самой глубины души, из той древней крови, что текла в её жилах. Она рванулась из рук державших её солдат с такой нечеловеческой силой, что на мгновение те опешили, будто столкнулись не с измученной женщиной, а с разбуженной стихией.

Ей почти удалось дотянуться до стремени, до маленькой ножки в шерстяном чулке — до чего-то родного, тёплого, живого. Но новый удар, на этот раз в живот, заставил её рухнуть на колени в грязь. Воздух вышибло из лёгких, мир сузился до одной точки — до хриплого, мучительного усилия просто вдохнуть. В ушах звенело. На миг даже крики и треск пламени будто отступили, и в этой звенящей тишине голос башибузука прозвучал особенно отчётливо, особенно мерзко.

— Смотри-ка, крепкий мальчонка, — его голос был скрипучим, как несмазанное колесо. — Из него выйдет славный янычар! Верный слуга султана! Забудет мать-ведьму и будет резать неверных!

Слова ударили больнее любого кулака, вонзились в сердце раскалёнными иглами.

Даниэла медленно подняла голову. Её волосы свисали грязными сосульками, лицо было в крови и грязи, но глаза… Её глаза сверкали в свете факелов такой первобытной яростью и решимостью, что даже этот жестокий человек на мгновение перестал смеяться, будто впервые увидел не просто пленницу, а нечто иное. Но миг прошёл. Он вернул ухмылку.

— Я найду тебя, Роман, — прошептала она сквозь стиснутые зубы, и слёзы, смешиваясь с кровью на её лице, становились чем-то большим, чем просто влагой, — они превращались в клятву. — Слышишь? Где бы ты ни был… я приду за тобой. Я клянусь кровью предков… клянусь памятью Децебала… я верну тебя домой.

Это не было мольбой. Не было криком отчаяния. Это было обещанием. Клятвой, произнесённой над бездной, высеченной в самой сути её бытия.

Осман лишь снова рассмеялся — лающим, неприятным звуком, в котором не было ни веселья, ни тепла, только презрение и уверенность в собственной власти.

— «Yürü!» — (Вперёд!)…

— Уведите эту суку! — бросил он своим людям, вскакивая в седло. — В янычары берут мальчиков, а не дочерей.

Даниэлу рывком подняли на ноги и потащили прочь. Она не сопротивлялась — теперь сопротивление было бесполезно. Она смотрела назад, не отрывая взгляда, до тех пор, пока свет факелов не поглотил силуэт всадника с её сыном, пока он не растворился в ночной тьме, став лишь эхом плача и отзвуком собственного обещания.

Теперь у неё была только одна цель. Одна мысль, пульсирующая в такт с древней силой, пробудившейся внутри и готовой вести её сквозь любые преграды.

Выжить.

Найти его.

Вернуть.

Её волокли по улицам не ради удовольствия. Никто из солдат даже не смотрел на неё. Для них она была не женщиной, не матерью, а просто ещё одной тенью, которую нужно было отпихнуть сапогом, чтобы не мешала движению имперской машины. Даже тот янычар со шра-

мом, что так грубо смеялся над её сыном, не был воплощением зла: он был винтиком в огромном, равнодушном механизме, который знал одно правило — сила должна подавлять, а страх должен быть осязаемым.

Именно поэтому с ней делали то, что делали. Не потому, что она чем-то особенно прогневала султана, а потому, что её судьба была нужна как урок. Разлучить мать с ребёнком, вывернуть наизнанку её мир, показать всем, кто ещё мог питать иллюзии: восстание — это не романтика знамён и клятв, это пепел на губах, это крик, который глохнет в темноте, это руки, тянущиеся к тому, кого уже не достать.

Её везли нарочно медленно. Даниэла чувствовала на себе взгляды — не сочувственные, а испуганные, жадные, чужие. Жители соседних домов выглядывали из тёмных проёмов, втягивали головы обратно, будто боялись, что одного взгляда хватит, чтобы их тоже втянуло в этот вихрь. Это и было главным: чтобы страх пропитывал воздух, как дым. Потом — в пересыльную тюрьму, где её бросили в общую камеру, в густую, липкую толпу чужих тел, запахов и отчаяния. Здесь не было места имени. Не было прошлого. У многих не было будущего. Было только сейчас. Только липкий жар чужих тел, тяжёлый запах немытых людей и отчаяния, и эта животная, тихая борьба за клочок пространства, где можно было хотя бы на минуту прикрыть глаза и не видеть ничего.

Унижение было не случайным, а системным. Её лишали статуса не потому, что хотели причинить боль, а потому, что статус — это опора. Сломай его — и человек становится податливым, как глина. Но Даниэла не могла сломаться. Даже когда её толкали соседи по камере, когда на неё кричали надзиратели, когда отбирали последнее, она упрямо повторяла про себя*:* «Я — Даниэла Бранковяну. Я — мать и жена. Это нельзя отнять».

Сырость пробиралась под кожу, темнота давила, а крысы сновали совсем рядом — всё это было не изощрённой жестокостью, а привычная обыденность этого мира. Казематы не строили для того, чтобы мучить: их строили, чтобы изолировать, чтобы сделать человека невидимым, чтобы он перестал быть фигурой, вокруг которой могут собираться другие. И Даниэла действительно становилась невидимой — для чиновников, для стражников, для всех, кто смотрел на неё как на строчку в донесении: «жена казнённого бунтовщика, содержится под стражей».

Но в этой невидимости она находила странное убежище. Пока они не видели в ней личности, они не видели и её решимости. Пока они считали её просто грузом, который нужно перевезти, она училась выживать. Она глотала воду, когда давали, ела чёрствый хлеб, когда он появлялся, и прятала каждую каплю сил, как прячут золото в тайнике.

А потом её вытащили из камеры, и поволокли к повозке. На этот раз путь лежал далеко — в Арту, в крепость где содержались подобные пленники. В царство начальника гарнизона Дели-бея Ашикоглу. Османская власть не хотела просто стереть её из истории. Она хотела, чтобы Даниэла стала предупреждением. Живым, дышащим, страдающим напоминанием: если вы посмеете бросить вызов, пострадают те, кого вы любите.

Путь в Османскую империю был сплошным кошмаром, слившимся в одно размытое пятно из боли, грязи и унижения. Дни и ночи перемешались, превратились в бесконечную череду толчков, криков, лязга цепей и запаха немытых тел. Её везли в повозке, как скот, — в тесном, пропахшем кровью и потом кузове, где нечем было дышать, а каждый ухаб отдавался в измученном теле новой вспышкой боли. А когда повозка ломалась, её гнали пешком, подгоняя ударами плетей. Плети не жалели: они учили молчать, учили не спотыкаться, учили быть просто телом, которое движется вперёд.

В Стамбуле её, как товар, выставили на рынке. Солнце палило беспощадно, отражаясь от белых стен и слепя глаза, и в этом слепящем свете всё казалось особенно уродливым: жадные взгляды, масляные улыбки, бесцеремонные руки, хватающие, щупающие, оценивающие.

Турецкий купец, жирный и лоснящийся, подошёл вплотную, бесцеремонно ощупал её плечи и шею, проверяя, не сломаны ли кости, не слишком ли она измождена, чтобы стоить хоть на пару монет меньше.

— Как твоё имя, девка? — спросил он на ломаном греческом, наклоняясь так близко, что Даниэла чувствовала запах чеснока и прогорклого масла.

Она подняла голову. Губы были разбиты, один глаз заплыл, тело ныло от каждого движения, но она не позволила себе согнуться. Она выпрямилась, насколько позволяли цепи, и встретила его взгляд прямо, без страха — потому что страшнее того, что уже случилось, быть не могло.

— Я — Даниэла Бранковяну, — проговорила она, и голос её прозвучал хрипло, но твёрдо, будто каждое слово приходилось выковывать заново.

Купец расхохотался, брызгая слюной, и этот смех был таким же липким, как его пальцы.

— Бранку… что? Здесь ты будешь просто «та, что с севера». Или «невольница». Или «христианка». У тебя больше нет имени.

Он ещё что-то говорил, тыкал пальцем, торговался с покупателями, но Даниэла почти не слышала. Она смотрела поверх его головы, туда, где небо казалось чуть светлее, где горизонт был чист и свободен. Ей хотелось туда, где нет этих развязных купцов и нищих бродяг. Где нет криков и этой жары.

Но продавать её не собирались. Это было лишь частью плана — частью уничтожения её воли. Унижение, выставление напоказ, насмешки — всё это было нужно, чтобы сломать её раньше, чем она попадёт к настоящему хозяину. Её ценность была не в красоте или умении работать. Её ценность была в том, кем она была — женой казнённого бунтовщика, женщиной, чьё имя ещё могло звучать как предупреждение.

Её переправили в Арту, в гарнизон под командование Дели бея Ашикоглу. Дорога туда была такой же безжалостной: пыль, жара, цепи, которые врезались в запястья, оставляя глубокие, сочащиеся кровью борозды. Но с каждым днём, с каждой новой болью в ней не угасало, а наоборот, крепло то самое обещание, что она дала сыну в ту ночь, когда их разлучили:

«Я найду тебя, Роман. Где бы ты ни был — я приду за тобой».

И теперь эта клятва стала её опорой, её щитом, её единственным оружием. Пусть у неё отобрали дом, свободу, даже имя — но они не могли забрать у неё память. Не могли стереть из её сердца образ сына. И пока она помнила, пока в груди билось сердце, она оставалась Даниэлой Бранковяну. Не «невольницей», не «христианкой», не «той, что с севера» — а матерью, которая ещё не проиграла эту битву.

Гарнизон в Арте встретил её глухим стуком ворот и лязгом засовов. Здесь не было рынка, не было крикливых торговцев — здесь была власть, холодная и расчётливая. Дели-бей Ашикоглу не смотрел на неё как на женщину. Он смотрел на неё как на инструмент, как на рычаг давления, как на карту, которую можно разыграть в большой игре.

Когда перед ним поставили Даниэлу, он долго молчал, разглядывая её так, словно пытался прочесть не только шрамы на теле, но и те, что спрятаны внутри.

— Так это и есть жена того бунтовщика, — произнёс он наконец, и в его голосе не было ни злобы, ни восторга — только сухой интерес человека, привыкшего взвешивать всё на весах выгоды.

Даниэла не опустила глаз. Она знала: стоит показать слабость — и её раздавят, как сухую травинку.

— Да, — ответила она спокойно, хотя внутри всё сжималось от напряжения. -И если ты думаешь, что я стану орудием в твоих руках, ты ошибаешься.

Дели-бей чуть приподнял бровь — будто не столько удивился её дерзости, сколько оценил её.

— Ошибаться — дорогое удовольствие, — протянул он, постукивая пальцами по столу. — Но мне нравится, когда люди не теряют лица даже тогда, когда у них ничего не осталось. Посмотрим, надолго ли хватит твоей гордости.

Он махнул рукой, и её уже собирались увести, но в дверях резко возник капитан — запыхавшийся, с потёками пота на висках, будто бежал через весь двор.

— Господин бей, — выдохнул он, склоняясь в торопливом поклоне, — куда разместить пленников и детей, привезённых из Валахии? У нас не хватает камер, а для малолетних…

Дели-бей на мгновение прикрыл глаза, будто эта суета была ему в тягость, и махнул рукой в сторону дальнего крыла:

— В казарменный флигель, под надзор. Детей — отдельно, но не в темницу. Султан не любит, когда младенцев бросают в сырость.

Капитан снова поклонился и уже хотел развернуться, но Даниэла вдруг шагнула вперёд — не как покорная невольница, а как женщина, услышавшая самое важное слово на свете.

— Детей… из Валахии? — голос её дрогнул, но она не дала ему сорваться в крик, удержала на грани шёпота, будто одно резкое движение могло развеять этот хрупкий смысл.

Дели-бей прищурился, будто только сейчас заметил, что она ещё не ушла.

Слова ударили наотмашь. Сквозь грязь, сквозь синяки, сквозь тяжесть цепей в груди что-то вспыхнуло, разгоняя тьму. Роман. Он возможно здесь. Он жив.

Даниэла едва не пошатнулась, но удержалась, вцепившись пальцами в грубую ткань платья. В глазах потемнело на миг — но не от слабости, а от того, как резко мир из серого и безнадёжного стал цветным, полным смысла. Не где-то в огромном мире, не в далёком Бухаресте, а прямо здесь, за этими стенами, в одном из коридоров этого гарнизона, был её сын.

Она не позволила себе ни улыбки, ни слёз — сейчас это было бы слишком. Но внутри неё что-то встало на место, словно сломанная ось вдруг снова вошла в пазы. Теперь она знала: она не просто выживает. Она ищет. И она найдёт.

Когда дверь за ней наконец захлопнулась, отрезая кабинет Дели-бея от коридора, Даниэла опустила голову, пряча взгляд, чтобы никто не увидел, как в нём горит теперь совсем другое пламя.

«Я здесь, Роман, — прошептала она про себя, и эти слова были крепче любой клятвы. — Я уже здесь. И я тебя найду».

Какая-то часть её, какая-то сила в её крови шевельнулась — не яростно, не слепо, а спокойно, уверенно, как зверь, который наконец почуял след. Да, они были рядом. И теперь ничто не могло помешать ей пройти любой путь, открыть любую дверь, выдержать любую боль — лишь бы снова прижать сына к сердцу.

Арта считалась важным гарнизонным городом — мрачная крепость нависала над берегом реки Арахтас, будто сама скала решила стать преградой для всякого, кто посмеет приблизиться. Вода внизу текла тяжёлая, свинцовая, и её холод пробирался даже сквозь толстые стены, словно хотел остудить любую искру надежды.

Камеры здесь были вырублены прямо в скале на уровне воды — будто строители хотели, чтобы пленники помнили: они не просто заперты, они погребены заживо. Стены, скользкие от влаги, сочились сыростью, а вода из реки временами просачивалась внутрь, образуя на полу ледяные лужи, в которых отражался тусклый свет факелов. По камням ползали жирные крысы, не боясь ни темноты, ни людей — они здесь были хозяевами.

В одну из таких ям и бросили Даниэлу.

Сначала её держали в относительной изоляции. Тюремщик приходил редко: приносил миску с помоями или грубо швырял кусок чёрствого хлеба — как собаке, не глядя, не задерживаясь. Даниэла не брала еду сразу. Она смотрела на руку, которая её бросала, и в её глазах, заплывших от побоев, не было страха — только холодная, застывшая ненависть, твёрдая, как лёд на полу. Она ждала. Не еды. Не жалости. Она ждала хоть намёка, хоть слова, что Роман жив.

Потом допросы стали регулярными. Помощник бея — человек с крысиным лицом и холодными, цепкими руками — пытался выведать секреты повстанцев, имена связных, планы Иона. Он говорил тихо, почти ласково, а потом бил — резко, точно, будто проверял, сколько ударов выдержит человеческая плоть. Когда она молчала, он смеялся. Когда она кричала, он смеялся ещё громче.

Редко на допросы приходил и сам Дели-бей Ашикоглу. Он не говорил ни слова. Просто стоял в тени, наблюдая за пытками с холодным любопытством, будто изучал не женщину, а редкий, но опасный механизм. На его перстне и на знамёнах стражи был вышит один и тот же символ — полумесяц с тремя звёздами, холодный и равнодушный, как сам бей.

Холод проникал сквозь тонкую ткань платья, пробирался под кожу, сковывал движения. Казалось, что сам камень стен был живым и хотел её задушить. Даниэла прижималась спиной к сырому углу, стараясь стать меньше, незаметнее, хотя знала — здесь её видят. Всегда. Даже в темноте.

Но однажды привычный порядок нарушился. В коридоре раздался торопливый топот сапог, лязг ключей, чьи-то резкие окрики. Дверь камеры распахнулась шире обычного, и на пороге возник помощник бея, а за ним — ещё двое стражников.

— Вставай, — бросил помощник, но в голосе его звучало не обычное презрение, а какая-то новая, нетерпеливая нота. — Бей хочет видеть тебя не в каземате. Сейчас.

Её выволокли по узким, извилистым переходам, где воздух был ещё гуще и тяжелее, чем внизу. Факелы отбрасывали дрожащие тени, и эти тени казались живыми — будто стены шептали: «Не надейся».

Её привели в небольшой зал при казармах — низкий, душный, пропахший дымом и кожей. Дели-бей сидел на резном табурете, постукивая пальцами по рукояти кинжала. Рядом стоял капитан, переминался с ноги на ногу, будто ему было не по себе.

Когда Даниэлу втолкнули в зал, бей даже не поднял головы сразу. Он нарочно тянул паузу, давая ей прочувствовать каждый миг неопределённости. Пусть постоит, пусть холод проберётся под кожу, пусть в груди зашевелится тот самый страх, который делает людей послушными.

— Ты спрашивала о мальчике, — наконец произнёс он, негромко, без нажима, будто речь шла о чём-то будничном — о посылке, о лошади, о забытой вещи. — Да, он здесь. В дальнем флигеле, под надзором. Пока не решено, что с ним делать. Наверное, будет славным янычаром

Капитан рядом невольно дёрнул щекой — ему было не по себе от этой игры, от того, как спокойно бей выкладывал карты, словно речь шла не о ребёнке, а о мешке зерна. Но бей не смотрел на него. Он смотрел на Даниэлу, ловя каждую тень на её лице.

И тень была. Не слёзы, не крик, не обморок — нет. Это была короткая, едва уловимая вспышка, будто внутри неё зажгли свечу. Она не стала благодарить, не стала умолять. Только выпрямилась, насколько позволяли измученные плечи, и встретила его взгляд прямо.

Сквозь сырость, сквозь холод, сквозь все эти дни, когда она училась не надеяться, чтобы не сломаться от разочарования, вдруг пробился луч. Он здесь. Роман здесь. И он жив.

Бей наблюдал за ней, будто пытался прочесть эту перемену в её лице.

— Вижу, тебе стало легче, — произнёс он спокойно, почти равнодушно. — Но не думай, что это что-то меняет. Я сохраню ему жизнь. Он будет играть по моим правилам.

Она подняла голову и встретила его взгляд прямо.

— Он никогда не будет играть по твоим правилам

Бей чуть приподнял бровь. Не от удивления — скорее от уважения к дерзости, которую редко встретишь в этих стенах.

— Посмотрим, — протянул он, снова постукивая пальцами по рукояти кинжала. — Иногда время ломает надежнее, чем плеть.

Он больше не хотел от неё новых сведений. Он хотел сломать её по-другому: дать ей надежду — и заставить её дорого за неё платить. Пусть знает, что сын рядом, но недосягаем. Пусть каждую ночь слышит в темноте шёпот: «Он близко… но не твой». Это было тоньше, чем пытки. И ранило глубже.

Её снова увели, но теперь она шла иначе. Не как тень, не как мешок с костями. В каждом шаге была новая опора: Роман здесь. Он жив. И пока это так, у неё есть цель.

Когда дверь каземата захлопнулась, отрезая её от коридора, Даниэла прижалась лбом к холодному камню. Не чтобы спрятаться. А чтобы услышать сквозь толщу стен хоть какой-нибудь звук — детский плач, шёпот няньки, скрип половицы под маленькой ножкой.

«Я здесь, Роман, — прошептала она, и голос её не дрогнул. — Я уже здесь. И я тебя найду. Даже если мне придётся разобрать эту крепость камень за камнем».

Ночь пришла и принесла воспоминания. Воспоминания разные. Её — Даниэлы. Чьи-то чужие. Она прижалась лбом к камню. Грань между «сейчас» и «тогда» стала зыбкойона не заметила, как перестала чувствовать холод каменной кладки и погрузилась в тяжелый сон.

Дитя Дакиовиллов

1800 год. Великое княжество Литовское. В ту ночь над Виленским краем бушевала первая в том году майская гроза. Небо, иссиня-чёрное, раскалывалось от молний, а старый парк вокруг усадьбы Дакиовиллов стонал под натиском ураганного ветра. В этом хаосе природы, в старом, пропитанном сыростью доме, где по углам вечно гуляли сквозняки, а половицы скрипели, словно жалуясь на свой век, раздался первый крик новой жизни.

Даниэла появилась на свет в родовом гнезде, которое помнило ещё блеск шляхетских балов и звон сабель. Но те времена канули в Лету. Теперь высокие потолки парадных залов скрывались в полумраке, а позолота на рамах семейных портретов облупилась. Семья Дакиовиллов была аристократической лишь по имени; казна их была пуста, а гордость — единственным оставшимся богатством.

Её мать, хрупкая и прекрасная, не пережила родов. Она угасла тихо, с последним выдохом успев лишь коснуться кончиками пальцев сморщенной щеки дочери. Так Даниэла вошла в этот мир сиротой, и её колыбелью стала не материнская любовь, а суровая, пахнущая сушёными травами и старой бумагой забота бабушки.

Старая графиня была последней хранительницей рода. Её спина была согнута годами, но взгляд оставался пронзительным, как у хищной птицы. Она забрала правнучку под свою опеку, решив воспитать её не как нежный цветок, а как сталь клинка.

С первых дней бабушка окружила девочку лаской, она души не чаяла во внучке и с удовольствием сама занималась с ней. Но когда Даниэла подросла ей пришлось столкнуться с жесткой дисциплиной. В доме Дакиовиллов не терпели слабости: ни в словах, ни в поступках, ни даже во взгляде. Каждое утро начиналось с холодного умывания и молитвы перед потемневшим образом святой Барбары, покровительницы рода. Потом — уроки: латынь, история, география, искусство дипломатии, которое графиня считала важнее любого танца.

— Ты Дакиовилл, — повторяла старуха, глядя на правнучку из-под тяжёлых бровей. — А это значит, что ты обязана помнить: твоё имя — не украшение, а ответственность. Его носят, как доспех.

И Даниэла училась носить этот доспех. Она запоминала имена предков, их победы и поражения, их клятвы и предательства. Бабушка водила её по тёмным коридорам усадьбы, показывая ниши, где, когда-то прятали документы и оружие, и шептала истории о тайных ходах, ведущих из подвала прямо к реке — на случай экстренного бегства.

— Никогда не забывай, где выход, — говорила она, и в этих словах звучало не предостережение, а подготовка к неизбежному.

Вечерами, когда ветер выл в каминных трубах, а свечи оплывали, графиня рассказывала Даниэле о крови Дакиовиллов- о том, как она помнит всё: каждую битву, каждую жертву, каждую слезу.

— Эта кровь не прощает трусости, — внушала она. — Но она вознаграждает стойкость. Если ты будешь твёрдой, она станет твоим щитом. Если дрогнешь — обернётся проклятием.

Даниэла слушала, не перебивая, и в её больших, серо-зелёных глазах отражались пляшущие огоньки свечей. Она не понимала тогда всей тяжести этих слов, но чувствовала их вес — как будто каждое из них ложилось на её плечи маленьким, но ощутимым камнем.

А за окнами всё так же бушевала гроза, и молнии рассекали небо, словно напоминая: мир не будет ждать, пока она вырастет. Он уже готовился испытать её.

Настоящим домом для Даниэлы стала огромная библиотека. Это было царство пыли и тишины, где солнечные лучи с трудом пробивались сквозь плотно задёрнутые бархатные шторы. Здесь пахло воском, кожей книжных переплётов и сухой лавандой — запахом, который со временем стал для девочки родным, почти таким же привычным, как собственное дыхание.

В этом полутёмном зале бабушка рассказывала ей истории. Тяжёлое кресло графини стояло в углу, у массивного дубового стола, заваленного пожелтевшими фолиантами, а Даниэла сидела у её ног на вытертом персидском ковре, впитывая каждое слово, будто от них зависела её жизнь.

— Слушай внимательно, дитя, — шептала старуха, склоняясь так низко, что её седые пряди касались страниц раскрытой книги. — Мы -Дакиовиллы. Наша кровь древнее, чем корона польских королей. В нас течёт не просто голубая кровь. В нас — память тех, кто говорил с богами на равных.

Она водила узловатым пальцем по строкам, написанным на давно вышедшем из употребления наречии, и голос её становился глуше, словно она не читала, а призывала тени прошлого. Она рассказывала о забытых богах Дакии и Литвы, о жрецах, чьи имена стёрлись из летописей, но чьи силы передались потомкам. Бабушка говорила о дарах и проклятиях, о печати на сердце, которую может увидеть лишь избранный.

— Они сторонились нас всегда, — кивала старуха в сторону окна, за которым простирался враждебный мир, казавшийся отсюда особенно холодным и чужим. — Они называют это «проклятием крови». Пусть. Мы-то знаем правду. Это не проклятие. Это бремя хранителей.

Даниэла слушала, затаив дыхание, не сводя с бабушки огромных тёмных глаз. Истории старухи были реальнее серой действительности за окном — реальнее скрипучих полов, пустых залов и шёпота слуг за спиной. Для девочки эти легенды становились картой мира, по которой она училась ориентироваться в жизни, где всё остальное казалось зыбким и ненадёжным.

А по ночам эти сказки обретали плоть. Девочке снились странные сны: она видела символы, вырезанные на замшелых камнях, ощущала холод алтарей в ночном лесу и слышала шёпот на языке, которого не знала наяву. Просыпаясь, она долго лежала без движения, стараясь удержать ускользающие образы, а потом тянулась за потрёпанной тетрадью и карандашом. Её детская рука выводила узоры, угловатые и резкие, удивительно похожие на те, что, по словам бабушки, были высечены на древних менгирах в чаще за имением. Иногда, разглядывая эти рисунки утром, графиня молча кивала, и в её взгляде мелькало что-то похожее на удовлетворение — будто она видела подтверждение тому, во что верила всю жизнь.

Соседские дети неохотно играли с ней. Но Даниэле это было не в тягость. В огромном пустом доме, под рассказы старой графини и под аккомпанемент собственных вещих снов, она росла с твёрдым знанием: она не такая, как все. Она — другая. И её путь будет совсем иным. С каждым днём это понимание становилось не утешением, а опорой — тяжёлой, холодной, но надёжной, как камень, из которого были сложены стены её дома.

Бабушка была права. Проклятие было даром, а дар — проклятием. Чем старше становилась Даниэла, тем отчётливее она понимала: легенды Дакиовиллов — лишь бледная тень настоящей правды. Истинное наследие их рода уходило корнями гораздо глубже, во времена, когда Рим ещё был горсткой глиняных хижин на семи холмах.

Это началось с амулета. На пятнадцатый день рождения бабушка надела ей на шею тяжёлый бронзовый диск на кожаном шнурке. В центре его извивалась единственная фигура — змея, кусающая собственный хвост, но её чешуя складывалась в сложный меандр, который Даниэла видела во сне. Металл был холодным, почти живым — он будто пульсировал в такт её сердцу, отзываясь на каждый удар глухим, едва уловимым эхом.

— Это Змей Дакии, *Dracon*. Не тот змий, что искушал Еву, а дух-хранитель. Он пил ветер и пожирал тьму. Его носили вожди, идущие в бой под знаменем с головой волка, — проговорила бабушка, завязывая шнурок с нарочитой медлительностью, словно каждое движение имело ритуальное значение.

С того дня она начала слышать какой-то зов. Поначалу он был тихим, едва различимым, словно далёкий набат, доносящийся сквозь толщу воды. Но постепенно звук нарастал, становился настойчивее, проникая в сознание даже сквозь сон. Иногда зов становился невыносим

— такой острый, что Даниэла зажимала уши ладонями, но это не помогало: он звучал не снаружи, а изнутри, будто пробуждался в самой её крови.

Когда они с бабушкой выезжали в карете по делам имения, Даниэла прижималась лбом к холодному стеклу, глядя на туманные вершины холмов вдали. Ей казалось, что камни там пульсируют, как сердце спящего зверя. Она чувствовала запах влажной земли Карпат так же остро, как запах пыли в библиотеке, — этот терпкий, древний аромат глины, мха и корней, сплетающийся с дыханием ветра. Шёпот древних камней становился громче людских голосов, заглушая даже стук колёс и цокот копыт.

Сам мир для Даниэлы начал меняться. Он стал глубже, объёмнее, наполнился запахами и звуками, которых другие люди, казалось, вовсе не замечали. Теперь она различала не просто шум леса, а отдельные голоса деревьев: скрип старых дубов, похожий на усталый вздох, шёпот молодых берёз, торопливый и взволнованный, и глухой рокот сосен, в котором слышались отголоски давних клятв.

Однажды, когда они проезжали мимо старого капища за опушкой, Даниэла вдруг резко выпрямилась, вцепившись пальцами в край сиденья. Перед глазами вспыхнули образы: мерцающие огни, тени, скользящие между камней, и голос, низкий и гулкий, словно исходящий из самой земли. Она увидела, как на поверхности валуна проступают те самые меандры, что были вычеканены на её амулете, — они двигались, перетекали друг в друга, складываясь в слова на забытом языке.

— Ты видишь? — прошептала она, оборачиваясь к бабушке.

Графиня лишь кивнула, не выказывая удивления, будто ждала этого момента долгие годы. Её взгляд был спокоен, но в нём читалась тяжесть знания, которое она наконец могла передать.

— Да, — тихо ответила она. — Теперь и ты видишь. И ты научишься не только видеть, но и слышать и отвечать.

Даниэла снова прижалась к стеклу, вглядываясь в даль, где холмы сливались с небом, а граница между прошлым и настоящим становилась всё тоньше. Зов не умолкал. Он звал её туда, где камни помнили шаги предков, а ветер хранил их имена.

Со временем ей стало нравится чувствовать землю. Когда гувернантка сопровождала её на прогулке по усыпанным гравием дорожкам парка, Даниэла снимала обувь и сворачивала на мягкую траву, будто сама почва звала её к себе. Босые ступни ощущали каждую неровность, каждый скрытый под дёрном корень старого дуба — они врезались в кожу, но не причиняли боли, а напротив, словно пробуждали в ней что-то забытое. Ей казалось, что она чувствует пульс самой почвы — медленное, размеренное дыхание спящего зверя, которое шло не сверху, а из самой глубины, из тёмных, сырых слоёв, где корни сплетались в древние узлы.

Камни под ногами были тёплыми — не от солнца, а изнутри, будто хранили в себе тепло давно угасших костров. Особенно один: поросший мхом валун у старой часовни, потемневший от дождей и времени. Его поверхность была неровной, испещрённой выбоинами, словно кто-то когда-то пытался высечь на нём слова, но так и не закончил. Прислонившись к нему лбом, девочка могла сидеть часами, закрыв глаза и слушая… шёпот.

Слова были неразборчивы, язык — древним, старше любых книг в библиотеке, старше самой усадьбы. Он не складывался в привычные фразы, не имел синтаксиса, который можно было бы выучить. Это был не столько язык, сколько ощущение: тяжесть веков, горечь потерь, гордость, застывшая в камне. И чувство было ясным — это была память места. Она текла сквозь валун, как подземная река, и касалась Даниэлы, пробираясь под кожу, оседая в костях.

Однажды, когда солнце уже клонилось к закату и длинные тени ложились поперёк дорожек, гувернантка как обычно нашла её у валуна.

— Даниэла! Сколько раз тебе говорить — не сиди на сырой земле! Простудишься, а мне отвечать перед графиней!

Девочка не ответила. Она лишь крепче прижала ладонь к шероховатой поверхности, будто боялась, что, если отпустит, шёпот исчезнет.

— Я слушаю, — прошептала она едва слышно, не поворачивая головы.

Гувернантка вздохнула, покачала головой и пробормотала что-то про «эти их дворянские причуды», но в её голосе звучало не раздражение, а скорее усталость и даже тень сочувствия. Она накинула на плечи Даниэлы шаль и тихо сказала:

— Ну, посиди ещё немного. Только не долго.

И Даниэла сидела. Пока последние лучи не скользили по мху, окрашивая его в золотисто-коричневый, пока воздух не становился густым от вечерней сырости, а шёпот не сливался с тишиной, становясь её частью.

Когда она наконец поднималась и шла обратно к дому, её ступни были в земле и траве, пальцы пахли мхом и холодным камнем, а в груди жило странное чувство — будто она только что вернулась из долгого путешествия, хотя не сделала и десяти шагов от валуна. И каждый раз, переступая порог усадьбы, она оставляла за спиной не просто парк, а целый мир, который понимал её лучше, чем люди.

А бронзовый диск на шее едва заметно теплел, словно одобряя её выбор.

Потом опять всё начиналось заново.

— Ты опять сидишь на холодном! Простудишься! — кричала нянька, оттаскивая её за руку так резко, что на запястье оставались лёгкие, белеющие следы от пальцев.

Даниэла не спорила. Она просто смотрела на няньку большими, тёмными глазами, в которых не было ни обиды, ни упрямства — только тихое, упрямое знание.

— Он тёплый, — повторяла она спокойно, будто говорила о самой очевидной вещи на свете. — Он живой.

Нянька вздыхала, качала головой, бормотала что-то про «не от мира сего» и уводила девочку в дом, где пахло воском и нагретым деревом, где всё было правильным, понятным и… пустым. Но стоило Даниэле снова вырваться в парк, как ноги сами несли её к валуну, к этому молчаливому стражу у старой часовни.

А бабушка лишь понимающе кивала, глядя на неё выцветшими, но всё ещё пронзительными глазами. В её взгляде не было удивления — скорее, горькое удовлетворение человека, который долго ждал подтверждения своей веры.

— Они зовут тебя, *dragamea*? Горы даков? — спрашивала она, и слово, незнакомое и тяжёлое, ложилось на воздух, как камень на дно реки.

Даниэла не понимала слов, но чувствовала их смысл — он проникал под кожу, отзывался в груди глухим, ровным стуком, похожим на тот, что она слышала от земли. *Dragamea*. Что-то древнее, женское, связанное с зовом и долгом. Она кивала, не зная, правильно ли делает, но чувствуя, что бабушка ждёт именно этого.

Карпатские горы, о которых рассказывала старуха, манили её во сне. Там, среди туманов, стояли циклопические стены древних крепостей, сложенные из камней, которые, казалось, сами встали друг на друга по воле ветра и времени. Призраки воинов в шлемах с волчьими головами молча стояли на стенах, охраняя покой своих царей. Они не смотрели на неё — они просто были, как часть пейзажа, как скалы и облака. И в их неподвижности было обещание: когда придёт час, они узнают её.

Просыпаясь, Даниэла долго лежала с закрытыми глазами, стараясь удержать эти образы, пока они не растворились в утреннем свете. А потом шла к окну, смотрела на дальние холмы, едва различимые за пеленой дождя, и ей казалось, что где-то там, за горизонтом, горы действительно шепчут её имя.

Бронзовый диск на шее в такие моменты становился тёплым, почти горячим, будто кровь под ним бежала быстрее, отзываясь на этот зов. И Даниэла знала: это не болезнь, не причуда, не слабость. Это было пробуждение чего-то, что дремало в ней годами, передаваясь от матери

к дочери, от бабки к правнучке — сквозь голод, войны, забвение, сквозь все попытки стереть род Дакиовиллов с лица земли.

— Ты слышишь их, — однажды тихо сказала бабушка, когда они сидели в библиотеке, и пыль кружилась в узких лучах света, словно крошечные звёзды. — И это хорошо. Потому что тот, кто не слышит зов предков, теряет себя. А тот, кто слышит… должен быть готов заплатить цену.

Даниэла тогда не спросила, какую цену. Она просто кивнула, потому что уже чувствовала её — лёгкий холодок вдоль позвоночника, тяжесть в груди, будто на плечи опускался невидимый плащ, сотканный из чужих судеб.

И она была готова. Не потому что хотела этого, а потому что не могла иначе.

Однажды местный священник застал её в лесу. Был день летнего солнцестояния — самый долгий день в году, когда тени становились короткими и резкими, а воздух густел от запахов нагретой хвои, травы и смолы. Солнце висело высоко, почти неподвижное, будто само время замерло в этой точке года.

Даниэла сплела венок из дубовых веток и папоротника — жёстких, упругих, пахнущих лесом и дождём. Она пыталась разложить маленький костерок по всем правилам, которые нашла в старой книге из библиотеки: не просто горсткой сухих веток, а по кругу, как на рисунках, где языческие жрецы стояли вокруг огня, подняв руки к небу. Пламя никак не хотело разгораться: сыроватые щепки лишь шипели, выпуская тонкие струйки дыма, и Даниэла, прикусив губу, дула на них, стараясь не дать искре погаснуть.

— Что ты делаешь, дитя?! — его голос прогремел, как гром, разорвав лесную тишину.

Она испуганно вскочила, прижав к груди свой амулет — бронзовый диск с извивающимся змеем, который в этот миг показался ей не просто украшением. Венок соскользнул с головы и упал на мох, придавленный её поспешным движением.

— Я просто… говорю с ними, святой отец, — тихо, но твёрдо произнесла она, будто оправдываться было стыдно, а молчать — ещё стыднее. — Как наши предки.

Священник шагнул ближе, его ряса шуршала по траве, а лицо потемнело от гнева и страха — страха перед тем, чего он не мог ни объяснить, ни подчинить.

— Предки твои приняли крест! — рявкнул он. — А эти сказки про Децебала и змеиные штандарты — дьявольский соблазн! Это не память, а ересь!

Он протянул руку к её шее, намереваясь сорвать амулет одним резким движением, как срывают ядовитый цветок, чтобы он не успел пустить корни. Но Даниэла отшатнулась так резко, что он остановился, будто наткнулся на невидимую стену.

В её глазах на секунду вспыхнуло что-то дикое, первобытное — не злоба, не ненависть, а древняя, инстинктивная защита того, что принадлежит ей по праву крови. Взгляд не испуганной девочки, а загнанного в угол зверя, который знает: если сейчас отступит, его больше не будут считать равным.

— Не трогайте, — прошипела она, сжимая кулак так, что ногти впились в ладонь.

Священник перекрестился, отступил на шаг, потом ещё на один, будто боялся, что её дыхание может осквернить его. Его пальцы дрожали, а голос, только что гремевший, теперь звучал тише, с дрожью, в которой слышался не гнев, а суеверный ужас.

— Сумасшедшая Дакиовиллова… Проклятая кровь… — пробормотал он, отворачиваясь, и поспешил прочь, не оглядываясь, будто боялся увидеть что-то, что окончательно лишит его покоя.

Когда его шаги затихли, Даниэла опустилась на колени, подняла венок и медленно надела его обратно. Пальцы её всё ещё подрагивали, но не от страха — от напряжения, от того, как близко она подошла к черте, за которой её мир могли просто запретить.

Костерок давно погас, оставив лишь горстку серого пепла. Но она не стала пытаться разжечь его снова. Вместо этого она приложила ладонь к земле, к прохладному мху, к корням старого дуба, и закрыла глаза.

— Они здесь, — прошептала она, не обращаясь ни к кому конкретно, а скорее подтверждая это себе. — Они не ушли. Они просто стали тихими.

Бронзовый змей на её груди едва заметно потеплел, будто соглашаясь. А в глубине леса, там, где солнечные лучи уже не доставали до земли, что-то шевельнулось в тени — не зверь, не птица, а словно сам воздух на мгновение сгустился, прислушиваясь.

И Даниэла знала: она не одна. Даже если весь мир отвернётся от неё, даже если её будут называть безумной, проклятой, чужой — те, кто был до неё, всё ещё стояли рядом. Невидимые, но крепкие, как стены древних крепостей.

Они ждали. И она должна была быть достойна их ожидания.

Она росла чужой для всех. Для соседей — сумасшедшей дикаркой, которая разговаривает с камнями и смотрит на мир так, будто видит сквозь стены. В деревнях шептались, что она призывает духов, и, завидев её силуэт у ограды парка, матери торопливо уводили детей, крестясь на ходу. Для слуг — надменной аристократкой, которая слишком много себе позволяет. Обыватели её недолюбливали не кланяется, как положено, не прячет взгляд, а смотрит прямо, словно имеет право судить каждого своим тихим, не по годам взрослым взглядом.

И лишь для бабушки она была наследницей чего-то великого и пугающего — последним звеном в цепи, которая тянулась сквозь века, не разрываясь даже под тяжестью поражений и забвения. В глазах старухи в такие моменты загорался странный, почти воинственный свет — не радость, а гордость, острая и колючая, как лезвие старого клинка.

— Мы — последние из свободных, Даниэла, — говорила бабушка вечерами, когда за окнами сгущалась тьма, а в камине потрескивали сыроватые поленья, выбрасывая искры, похожие на крошечные звёзды. — Пока другие склонялись перед Римом, мы уходили в горы. Пока Османская империя пьёт соки из Валахии, мы помним, что значит быть хозяевами своей земли. Наша кровь — это не проклятие. Это бремя тех, кто никогда не был рабом.

Каждое слово падало в душу девочки, как камень в тихий пруд, расходясь кругами. Она запоминала их, складывала в тайный ларец внутри себя, чтобы доставать в минуты, когда одиночество становилось невыносимым, когда хотелось просто быть как все: смеяться над глупыми шутками соседских мальчишек, бегать по лужам, не думая о древних клятвах и забытых богах.

И маленькая Даниэла верила. Веря в это, было проще переносить одиночество. Проще чувствовать себя особенной, а не брошенной. Она была не просто сиротой из обедневшего рода, чья усадьба медленно рассыпалась, как старый пирог, теряя крошки на ветру. Она была последним потомком великих вождей, и где-то там, в тумане веков, её ждал трон из костей врагов и знамя с головой дракона — не как награда, а как долг, который однажды придётся исполнить.

Иногда, лёжа ночью без сна, она представляла этот трон: холодный, тяжёлый, выточенный из чёрного камня, покрытого рунами, которые светятся в темноте. Знамя развевалось над ней, шурша, как крылья огромной птицы, и ветер нёс запах грозы и железа. В этих грёзах она никогда не чувствовала страха — только странное, горькое спокойствие человека, который знает: его путь уже начертан, и свернуть с него нельзя.

А утром, спускаясь по скрипучим ступеням в пустой зал, где солнечные лучи резали пыль на тонкие полосы, она снова становилась девочкой, которую сторонятся и о которой шепчутся. Но теперь каждый косой взгляд, каждый торопливо перекрестившийся прохожий лишь подтверждал её избранность.

Пусть боятся. Пусть отводят глаза. Она не просила этого бремени. Но раз оно досталось ей, она понесёт его до конца.

Бронзовый змей на её груди в такие минуты едва заметно теплел, будто шептал: «Ты не одна». И этого было достаточно, чтобы сделать следующий шаг.

Она начала собирать знания сама — не из уроков гувернантки, не из благочестивых наставлений священника, а из тишины старых стен, из шороха страниц, из шёпота земли под ногами. В тайнике за гобеленом, изображавшим охоту на оленя — выцветшем, протёртом на сгибах, — она нашла ветхий манускрипт.

Кожаный переплёт рассыпался от прикосновения, будто хотел унести свои тайны обратно в пыль. Страницы были тонкими, почти прозрачными, исписанными выцветшими чернилами. Текст представлял собой странную смесь латыни и языка, которого никто не знал: угловатые буквы сплетались в узоры, похожие на трещины на замёрзшем стекле. Даниэла не могла прочесть его целиком, но отдельные слова всплывали в памяти сами собой — будто она слышала их во сне.

Там говорилось о *«дэвах»* — духах, живущих в корнях дубов, в изгибах рек, в трещинах старых камней. О том, что они не добрые и не злые, а древние, как сама земля, и что слышат только тех, чья кровь помнит старые клятвы. И о силе, текущей в венах тех, кто помнит имя *Децибала* — не как имя из легенды, а как пароль, открывающий двери между мирами.

Даниэла перерисовывала знаки на пожелтевшие листы, стараясь не пропустить ни одной завитушки. Некоторые из них она уже видела во сне, другие — на камнях у старой часовни, третьи — в узорах мха, если смотреть на них под нужным углом. Каждый символ был как осколок зеркала: по отдельности — ничего не стоящий, но собранные вместе, они могли показать целое.

Однажды местный священник снова застал её — на этот раз она сидела на пороге дома, рисуя углём тот самый знак: круг, пересечённый тремя изогнутыми линиями, похожими на корни или змеиные тела. Уголь крошился в её пальцах, оставляя чёрные следы на коже, но она не замечала этого, полностью поглощённая тем, чтобы линии легли ровно.

— Это всё ересь, дитя, — качал головой священник, глядя на неё с усталой горечью человека, который слишком часто видел, как вера сталкивается с безумием. —Это всё язычество, и оно давно мертво. Его сожгли, стёрли, обратили в пепел.

Даниэла не подняла глаз. Её пальцы продолжали выводить линии, будто если она остановится, что-то важное ускользнёт навсегда.

— Оно спит, святой отец, — ответила она тихо, но твёрдо, словно повторяла истину, которую нельзя оспорить. — И иногда просыпается от боли. Когда земля стонет под сапогами чужаков. Когда рушатся стены, которые стояли веками. Когда забывают имена тех, кто держал щит. Тогда оно просыпается. И тогда кто-то должен быть готов услышать.

Священник замер, будто эти слова ударили его сильнее, чем любой крик. В них не было дерзости, не было вызова — только спокойная уверенность, от которой становилось не по себе.

Он хотел сказать что-то ещё — наставить, пригрозить, может быть, даже схватить её за плечо и оттащить от этого проклятого порога. Но, взглянув на её лицо — сосредоточенное, серьёзное, с тенью чего-то гораздо более древнего, чем её годы, — он лишь тяжело вздохнул, перекрестился и медленно пошёл прочь, бормоча себе под нос молитвы, которые должны были защитить его от того, что он только что услышал.

А Даниэла дорисовала последнюю линию. Знак лёг на камень, как отпечаток чьей-то ладони, и на мгновение ей показалось, что воздух вокруг него дрогнул, словно поверхность воды после брошенного камня.

Она провела пальцем по чёрным штрихам, чувствуя, как холод камня поднимается по коже, сплетаясь с теплом бронзового змея на груди.

«Я слышу», — подумала она, обращаясь не к священнику, не к бабушке, а к тем, кто жил в корнях, в камнях, в ветре. «Я учусь. Я буду готова».

И где-то глубоко под землёй, в сплетении корней старого дуба, что-то едва заметно шевельнулось — не в ответ, а в знак того, что её услышали.

Раз в году в самую длинную ночь, когда ветер завывал в каминной трубе особенно тоскливо, а за окном старого поместья, казалось, бродили тени, бабушка рассказывала эту историю. В такие вечера воздух в библиотеке становился густым, будто пропитанным древними клятвами, и даже пыль, кружившаяся в свете свечи, казалась не пылью, а пеплом давно угасших костров.

— Это не просто сказка, Даниэла, — шептала она, поправляя на внучке шерстяной плед, тяжёлый и колючий, но такой нужный в эти пронизанные холодом часы. — Это наш Завет. То, что делает нас Дакиовиллами. То, что делает нас даками.

Она рассказывала о последнем царе свободных. О Децебале. Не о том, что описан в римских хрониках как варвар, с перекошенным от ярости лицом и диким взглядом, а о том, каким его помнила их кровь: о человеке, чьё сердце билось в такт с дыханием гор, а голос был слышен даже сквозь грохот легионов.

В ту ночь, перед последней, безнадёжной битвой у стен Сармизегетузы, он стоял на вершине горы. Римские легионы окружали его царство, как вода камень, медленно, неумолимо, стирая всё на своём пути. Он знал: завтра — смерть или позорное рабство. Выбор был ясен, но цена казалась непомерной. Он не хотел бессмертия для себя. Он хотел, чтобы дух его народа не растворился в чужой истории, не стал сноской в летописях победителей.

И тогда из тьмы Карпатских гор на его зов вышла она. Не человек и не зверь, Волчица Ночи. Её шерсть была чернее безлунного неба, а в глазах горели холодные звёзды — те самые, что смотрят на мир сквозь тысячелетия, ничего не забывая. Она не говорила слов. Её мысль проникла прямо в разум царя, острая и прозрачная, как ледяной клинок: «Я могу дать тебе силу, выходящую за пределы смертного. Ты не умрёшь. Ты будешь вечно смотреть на руины своего народа».

Децебал посмотрел на спящий лагерь своих воинов, на дымы родного города внизу, на тонкие нити звёзд над головой. Он был царём, а не отшельником. Его долг был не в том, чтобы пережить свой народ, а в том, чтобы защитить его даже после падения.

— Мне не нужно бессмертие, — ответил он Волчице, и голос его прозвучал твёрдо, без дрожи, хотя сердце сжималось от тяжести выбора. — Защити дух моего народа. Дай знак, по которому мои потомки узнают друг друга в час нужды.

Лилиэн склонила голову. Она приняла его выбор. Она не дала ему вечной жизни в теле, но оставила в крови его народа отголосок своей вечности. Дар был двойственен: он давал силу выживать там, где другие падут, видеть сквозь тени, когда другие слепнут, пробуждать звериную ярость в момент смертельной опасности. Но за это приходилось платить одиночеством — тем самым, что ложится на плечи избранных, как тяжёлый доспех, который нельзя снять.

— С тех пор, — говорила бабушка, её голос становился глухим и торжественным, словно она сама стояла там, на той горе, и видела всё своими глазами, — в нашей крови живёт этот дар. Способность чувствовать близость Вечных. Слышать, как шепчут камни. Помнить, даже когда весь мир старается забыть.

Она наклонилась к самому уху Даниэлы, и девочка почувствовала её тёплое, чуть прерывистое дыхание и запах сухих трав, который всегда сопровождал старуху.

— А волчица… Лилиэн… Она дала клятву. Пока хоть один потомок даков будет слышать, она будет сторожить границы миров рядом с их землями. Она не уйдёт. Она будет рядом.

Даниэла росла с этим знанием. Легенда перестала быть просто сказкой, которую рассказывают, чтобы убаюкать ребёнка. Она стала её сутью, её мерой, её законом.

Когда другие дети боялись темноты, Даниэла видела в ней лишь оттенки серого и чёрного, различая в них очертания знакомых вещей: изгиб старого дуба, силуэт валуна, тень тропинки, которую днём не замечала. Когда гувернантка ругала её за дикий взгляд, Даниэла знала:

это вертикальные зрачки «метки Лилиэн» на мгновение проступают сквозь человеческую оболочку, позволяя видеть то, что скрыто от обычных глаз.

Шёпот камней Карпат теперь обрёл смысл. Это было эхо того самого Завета. Слово, которое произнёс Децебал в ответ на предложение Волчицы.

Слово было «Свобода».

Оно не звучало в ушах. Оно вибрировало в костях, когда она касалась древнего валуна, отдаваясь глухим, ровным гулом, который шёл из самой глубины земли. Оно было вкусом ветра на губах, когда она стояла на краю обрыва и смотрела, как тучи бегут над холмами, словно спеша куда-то, ведомые древним зовом. Это было то самое слово, которое шептали камни Карпат со времён падения Сармизегетузы- клятва последнего царя своему народу и его древнему духу-хранителю.

Иногда, стоя у окна в своей комнате, когда дом уже затихал и только часы в коридоре отсчитывали секунды, Даниэла тихо повторяла это слово про себя, почти беззвучно, одними губами: «Свобода». И бронзовый змей на её груди едва заметно теплел, будто отзываясь на него, как отзывается верный пёс на голос хозяина.

Она знала: этот завет — не просто история. Это обещание. И однажды ей придётся его исполнить.

Годы шли, и странная девочка Даниэла Дакиовилл превратилась в нечто ещё более странное — в юную девушку, от которой веяло холодом и древней тайной, будто сквозь её северную строгость проступала южная, огненная память далёких предков. Её красота, строгая и сдержанная, не знала улыбок, способных растопить лёд. В бальных залах Вильны, куда бабушка вывозила её в тщетной надежде найти выгодную партию, она была подобна ледяной статуе, высеченной из самого сердца зимы.

Мужчины находили её пугающей: в её взгляде было что-то, что заставляло их невольно отводить глаза, будто они заглядывали в тёмную, бездонную пропасть. Женщины считали её высокомерной, потому что она не смеялась над пустыми шутками, не кокетничала, не опускала ресницы в притворной скромности. Но правда была одновременно проще и сложнее: Даниэла жила в двух мирах одновременно.

Один мир был вокруг неё — мир шелеста платьев, запаха воска и нагретого воздуха, мир скучных разговоров о политике и бесконечных реверансов, где каждое движение было расписано заранее. Второй мир был внутри неё — мир шёпота камней, запаха влажной земли и видений кроваво-красных клёнов Карпат, которые вспыхивали перед её внутренним взором даже посреди самого пышного бала.

Её дар, или проклятие, развивался, раскрываясь всё сильнее, словно древний механизм, который годами был заперт, а теперь начал медленно поворачивать свои шестерёнки.

В тёмных коридорах усадьбы она никогда не спотыкалась. Для неё мрак был не преградой, а полупрозрачной завесой, сквозь которую проступали очертания мира. Она видела мышей за плинтусами, видела пыль, танцующую в луче лунного света из окна, видела… что-то ещё. Смутные тени на границе зрения, которые исчезали, стоило ей повернуть голову. Иногда ей казалось, что эти тени смотрят на неё в ответ.

Однажды на балу в честь именин какого-то графа она замерла посреди танца. Её партнёр, юный князь с румяными щеками и наивным восторгом в глазах, удивлённо посмотрел на неё.

— Вам дурно? Вы холодны как лёд, — прошептал он, крепче сжимая её пальцы, будто надеялся согреть.

— Здесь кто-то есть, — прошептала она, глядя сквозь него в угол зала. — Кто-то… не отсюда.

В углу стоял пожилой посол из Османской империи. Для всех он был просто человеком — важным, сдержанным, безупречно вежливым. Но Даниэла видела ауру вокруг него — тёмную, гнилостную дымку, которая медленно клубилась, словно туман над болотом. Она не

знала, что это значит, но инстинкт, древний и безжалостный, кричал ей бежать. Она инстинктивно отшатнулась, едва не вырвав руку из пальцев князя. Посол лишь вежливо улыбнулся, слегка склонив голову, и его взгляд показался ей взглядом змеи — спокойным, расчётливым, лишённым всякой человечности.

Была в ней и какая-то нечеловеческая, звериная сила. Она проявлялась вспышками, внезапными и пугающими даже её саму. Однажды грубый конюх ударил лошадь — резко, зло, просто потому, что день не задался. Даниэла, не помня себя, подлетела к нему с быстротой, невозможной для обычной девушки. С нечеловеческой силой она отшвырнула его руки, вырвав поводья. Когда ярость схлынула, оставив после себя звенящую пустоту, она стояла перед ним с абсолютно спокойным, ледяным лицом и смотрела ему прямо в глаза.

— Больше никогда так не делай, — тихо, но твёрдо сказала она конюху.

Тот, потирая ушибленную руку и глядя на неё с суеверным ужасом, поспешно ретировался, бормоча что-то о «нечистой силе».

Бабушка смотрела на всё это с мрачным удовлетворением, в котором не было ни радости, ни гордости матери, а лишь тяжесть долга, который наконец начал исполняться.

— Ты становишься собой, — говорила она, сидя в своём тяжёлом кресле у камина, где огонь трещал, словно спорил с тишиной дома. -Дакиовиллы всегда были другими. Мы — мост между миром людей и тем, что древнее Рима. Наша кровь помнит то, что мир старается забыть.

Даниэла не знала, радоваться этому или скорбеть. Иногда по ночам она стояла у окна своей комнаты, глядя, как лунный свет ложится на парк, превращая деревья в чёрные силуэты, похожие на стражей. Бронзовый змей на её груди едва заметно теплел, отзываясь на её мысли, будто шептал: «Ты на своём пути».

Она чувствовала, как в ней просыпается что-то древнее, дикое и прекрасное, как гроза над горами. И вместе с этим приходило понимание: её одиночество — не наказание, а подготовка. Мир людей был слишком мал, слишком хрупок для того, что жило в её крови.

И где-то в глубине Карпатских гор, среди туманов и руин древних крепостей, Лилиэн, Волчица Ночи, склоняла голову, прислушиваясь к биению сердца далёкой наследницы.

Даниэла всё глубже погружалась в библиотеку, будто искала в её полумраке не знания, а выход. Она уже не просто читала фолианты о Дакии — она изучала их, как солдат изучает поле предстоящей битвы. Карты, пожелтевшие от времени и хрупкие, как сухие листья, ложились перед ней на стол, и она водила пальцем по линиям Прутского похода Траяна, по контурам исчезнувшего царства, словно пытаясь нащупать пульс той, прежней земли.

Она знала наизусть названия рек: *Аргес*, *Тибиск*, *Альутус*… Они не были для неё просто словами на пергаменте. Произнося их, она чувствовала, как что-то внутри отзывается — будто эти звуки были ключами, поворачивающимися в старых замках её памяти. Названия эти действительно жгли язык знакомым огнём, горьким и пряным, как дым от жертвенного костра.

В один из вечеров, когда дом затих, а бабушка уснула в своём кресле под мерное тиканье напольных часов, Даниэла поднялась на чердак. Там, среди сундуков, покрытых пылью веков, она нашла то, что искала: бронзовые спирали-украшения, тяжёлые и холодные, с выщербленными краями, будто их носили не ради красоты, а как знаки принадлежности. Она спрятала их под одеждой, чувствуя, как металл постепенно согревается от её тепла, словно пробуждаясь после долгого сна.

Потом она начала собирать свой «ритуальный» наряд. Втайне от всех, под предлогом благотворительности для деревенских женщин, она заказала у местной швеи простое платье из грубого льна — без кружев, без вышивки, без намёка на моду. Но когда платье было готово, Даниэла забрала его и сама взялась за иглу. Нитки она выбирала не яркие, а тускло-коричневые, цвета земли и засохшей крови, и вышивала меандры и спирали — те самые, что видела на дакийской керамике, те, что повторяли узоры на её амулете и те, что являлись ей во сне.

Каждый стежок был не просто движением руки, а чем-то вроде клятвы, тихо произнесённой в тишине комнаты.

Для всего мира она была эксцентричной аристократкой — странной, холодной, слишком серьёзной для своих лет. Соседи перешёптывались, что у Дакиовиллов окончательно иссякло не только золото, но и здравый смысл. Слуги качали головами, глядя, как она бродит по дому в этом грубом платье, будто нарочно подчёркивая своё отчуждение.

Но для себя она была пленницей.

Пленницей крови, которая звала её на юг, в горы, где когда-то стоял трон Децебала, где ветер помнил голос последнего царя, а камни хранили эхо его шагов. Она чувствовала: её судьба не здесь, среди серых литовских болот, где небо давит своей тяжестью, и чопорных балов, где слова были пустыми, а улыбки — острыми, как лезвия. Её судьба была там, где шёпот камней громче людских голосов, где земля дышала древними ритмами, а небо казалось ближе, потому что не было скрыто туманом забвения.

Иногда, сидя над картой, она закрывала глаза и представляла, как эти линии оживают: реки становятся потоками силы, горы — стражами, а дороги — нитями, ведущими её к истинному дому. И в эти мгновения она почти слышала, как бронзовый змей на её груди тихо пульсирует в такт далёкому, но неумолимому зову.

«Я иду, — шептала она беззвучно, одними губами, обращаясь не к людям, а к тем, кто ждал её в горах. — Я слышу. Я помню».

И камни где-то далеко, за сотнями вёрст, едва заметно вздыхали в ответ.

Ночь с 29 на 30 ноября выдалась по-особенному тёмной. Ветер, словно обезумевший зверь, бился в ставни усадебного дома, царапая дерево, будто хотел пробраться внутрь, сорвать завесу уюта и тепла. Но внутри, в большой гостиной, было тепло и светло. Комната озарялась десятками свечей — их пламя плясало, отбрасывая на стены причудливые тени, которые то вытягивались, то съеживались, словно живые.

В воздухе смешались запахи плавящегося воска, печёных яблок, пряного вина и сухих трав, которые старшая сестра Магдалена принесла с чердака. Пучки лаванды, зверобоя и ещё какой-то горькой травы, названия которой никто не помнил, лежали на краю стола, будто оберег против того, что могло прийти из темноты. Казалось, сама грань между мирами истончилась и пропустила в комнату дыхание древней, дикой зимы — холодное, терпкое, пахнущее мхом и льдом.

Собрались девушки: сёстры Даниэлы, кузины, соседские панночки. Возрастом от пятнадцати до двадцати лет, они смеялись, перешёптывались и с детским азартом готовились к гаданиям. Кто-то раскладывал на столе зеркала, кто-то грел над свечой восковые пластинки, кто-то чистил яблоко, стараясь срезать кожуру одной длинной лентой. В их глазах плясали отсветы огня, и на мгновение они все казались одинаковыми — молодыми, взволнованными, полными ожидания чуда.

— Панове, тише! — Магдалена подняла руку, призывая к порядку. Её голос, хоть и звучал мягко, умел подчинять. — Скоро полночь, самое время. Давайте начнём с воска. Он самый верный. Говорят, если тень от застывшего воска похожа на кольцо — быть свадьбе, если на дорогу — ждать пути, а если на птицу…

Она не договорила, лишь слегка улыбнулась, но в этой улыбке мелькнуло что-то серьёзное, будто она сама верила в эти приметы больше, чем хотела показать.

— А я хочу попробовать с яблоком! — подхватила Юстина, кружась по комнате в лёгком, почти детском восторге. — Говорят, если кожура упадёт буквой, то это первая буква имени жениха! Я хочу, чтобы это была «М»! Или «К»!

Девушки снова рассмеялись, и смех их звенел, как тонкие стеклянные колокольчики.

Даниэла, теребя край своего лучшего платья — шёлкового, с серебряной вышивкой, которое бабушка велела надеть «чтобы не позорить род», — тихо произнесла:

— А это не опасно? Бабушка говорила…

Её слова потонули в общем смехе.

— Брось, Даниэла! — кузина Беата хлопнула её по плечу, и от этого простого, дружеского жеста девушка чуть вздрогнула, будто прикосновение обожгло. — Не слушай бабкины сказки! Это же просто игра! Ну что может случиться в тёплом доме, среди своих, под светом сотни свечей?

Магдалена на секунду задержала взгляд на Даниэле. В её глазах мелькнуло что-то похожее на сочувствие, но она ничего не сказала — лишь кивнула, будто принимая немую просьбу младшей сестры не настаивать.

— Ладно, — проговорила она, снова поднимая руку, чтобы унять весёлый гул. — Тогда так: воск — для тех, кто хочет знать о будущем, яблоко — для тех, кто ищет имя, а зеркала… зеркала оставим на потом. Или не будем вовсе.

Последняя фраза прозвучала тише, почти шёпотом, и Даниэла уловила в ней странное облегчение.

Девушки распределились вокруг стола, заняв свои места, и комната наполнилась шёпотом, смехом, тихим звоном ложек, которыми снимали горячий воск, и хрустом яблочной кожуры. Пламя свечей трепетало, и тени на стенах шевелились, словно пытались что-то сказать.

А Даниэла сидела чуть в стороне, наблюдая за всем этим, не присоединяясь ни к одной группе. Её пальцы всё ещё теребили край платья, а бронзовый змей под тканью, скрытый от чужих глаз, едва заметно теплел, будто предупреждая: эта ночь — не просто игра.

Где-то в глубине дома часы начали отбивать полночь. Двенадцать ударов, тяжёлые и гулкие, прокатились по коридорам, и на миг в комнате стало тихо — так тихо, что было слышно, как потрескивает фитиль свечи и как за окном ветер на секунду замирает, прислушиваясь.

И в эту секунду Даниэла почувствовала, как тонкая грань, о которой говорила бабушка, дрогнула. Не треснула, не разорвалась — просто стала прозрачной. И сквозь неё на неё глянули не тени, а чьи-то внимательные, холодные глаза.

«Они здесь», — пронеслось у неё в голове, и она крепче сжала пальцы, стараясь унять дрожь.

Но никто этого не заметил. Девушки снова заговорили, зашептались, склоняясь над воском и зеркалами, и граница между игрой и чем-то гораздо более древним и серьёзным снова сомкнулась, скрыв от них то, что видела Даниэла.

— Ну-ка, пани! Ставьте свои бальные туфельки! — скомандовала Магдалена, щёлкнув пальцами, будто отдавала приказ на параде. — Кто первая до двери доберётся? Только не мухлевать!

Девушки, хихикая и толкаясь, сняли туфельки — шёлковые, атласные, с крошечными бантиками и изящными каблучками — и выстроили их в ряд «пятка к носку» вдоль стены коридора, по направлению к выходу. В полумраке коридора, где свет от свечей в гостиной едва доставал до углов, туфельки казались маленькими лодочками, готовыми отчалить в неведомое.

По сигналу все бросились к туфлям и схватив каждая свою начали быстро переставлять относительно других. Так чтобы не потерять очередность и последняя вновь становилась первой. Поднялся визг и хохот: кто-то споткнулся о ворс ковра, кто-то налетел на холодную статую в тёмном углу — мраморный юноша с грустным лицом и протянутой рукой, давно покрытый пылью и забытый всеми. Подруги толкались, хохотали и помогали друг другу сохранить равновесие, хватая друг друга за локти и плечи, чтобы не рухнуть на пол.

Когда суматоха улеглась и все, запыхавшиеся и раскрасневшиеся, снова собрались у стены, выяснилось: туфелька Даниэлы оказалась ближе всех к порогу.

— О, Даниэла! — воскликнула Беата, всплеснув руками. — Ты первая выскочишь замуж!

— Только ненадолго, — лукаво добавила Юстина, увидев рядом свою туфлю. — Моя вроде тоже убирается… Значит, я тебя быстро обгоню!

Все снова рассмеялись, и смех их звенел в коридоре, разгоняя тени по углам. Даниэла улыбнулась в ответ — так, как от неё ждали: легко, беззаботно, будто её сердце не сжималось от этой шутки. Но в груди что-то болезненно сжалось, и улыбка получилась натянутой, как слишком туго зашнурованный корсет. Шутка показалась ей слишком точной. Слишком зловещей. Словно кто-то подслушал её мысли и нарочно обернул их в весёлые слова, чтобы скрыть их настоящий смысл.

Через половину часа девушки снова собрались в гостиной, чтобы посмотреть на результат ночного гадания. Накануне они писали мужские имена на клочках бумаги, скручивали их в трубочки и клали под подушки, шепча про себя желания и смеясь над собственной серьёзностью.

Теперь, сидя на диванах и стульях, они снова взялись за перья.

— Я напишу «Ян», «Казимир» и «Франтишек», — сказала Юстина, выводя буквы острым пером, так старательно, будто от красоты почерка зависела судьба. — А ты кого писать будешь? Какого-то таинственного пана из снов? — поддела она Даниэлу, хитро прищурившись.

Даниэла молча взяла листок и перо. Она не знала, чьё имя написать. Ни один из знакомых молодых людей не вызывал в ней ни волнения, ни интереса. В её мыслях не было ни Яна, ни Казимира, ни Франтишека. Вместо этого перед глазами вставали образы, не имеющие ничего общего с этими светлыми, уютными именами: тёмные силуэты в шлемах с волчьими головами, шёпот камней, запах влажной земли и далёкий, глухой зов, который она слышала даже здесь, посреди смеха и суеты.

Она написала одно имя — просто чтобы было. Без раздумий, почти не глядя. И спрятала бумажку под подушку, стараясь не думать о том, что делает.

Утром все с нетерпением разворачивали свои бумажки. У всех выпали имена знакомых молодых людей — офицеров из местного гарнизона, сыновей соседей, тех, кого они видели на балах и в гостиных. Поднялся смех, начались бурные обсуждения «судеб»: кто с кем будет танцевать, кто кого пригласит на прогулку, кто, возможно, осмелится сделать предложение.

Даниэла развернула свою бумажку последней. Остальные уже болтали, размахивая своими клочками бумаги, и не сразу заметили, что она сидит неподвижно, глядя на одну-единственную строчку, выведенную её собственной рукой.

На ней было написано чужое, гортанное имя — «Дели».

— Тебе достался таинственный незнакомец! — захохотала Беата, заметив её молчание. — Может, какой-то восточный принц!

— Или пират с Чёрного моря! — подхватила Юстина, театрально закатив глаза.

Девушки снова рассмеялись, представляя Даниэлу в роскошных восточных покоях, окружённую шёлковыми подушками и золотыми чашами.

Даниэла промолчала. Имя холодило пальцы, будто несло в себе скрытую угрозу, как холодный металл, вынутый из ледяной воды. Она быстро скомкала бумажку и спрятала её в кармане платья, стараясь не выдать внезапно накатившей тревоги.

В её памяти вспыхнул тот вечер на балу, когда она увидела тёмную, гнилостную дымку вокруг посла из Османской империи, и его змеиный взгляд, скользнувший по ней, как лезвие ножа. «Дели» звучало в её голове не как имя жениха, а как предупреждение.

Никто этого не заметил. Девушки продолжали болтать, строить планы и смеяться, уверенные, что всё это — лишь весёлая игра, способ скоротать долгую зимнюю ночь.

А Даниэла сидела среди них, стараясь дышать ровно, и чувствовала, как бронзовый змей на её груди едва заметно теплеет, будто шепчет: «Будь настороже. Не всё так просто».

Наконец, настал черёд главного гадания — на воске.

— Лить нужно через ушко старого ключа в миску с водой, — наставляла Магдалена, держа в руках потемневший от времени ключ, будто это был не предмет быта, а священный артефакт. — Так точнее всего видно судьбу. Говорят, ключ открывает двери не только в домах, но и в будущем.

Девушки по очереди подходили к огню, растапливали огарок свечи в ложке и лили жидкий воск через холодный металл в воду. В прозрачной глади застывали причудливые фигуры, и каждая тут же становилась поводом для радостных криков и догадок. В каплях воска угадывали сердца, обручальные кольца и даже очертания домов с островерхими крышами. Смех звенел, отражаясь от стен, и казалось, что сама усадьба улыбается этой юной, беззаботной суете.

Наступила очередь Даниэлы. Она взяла ложку дрожащими руками. Металл был неожиданно тяжёлым, словно не хотел отпускать прошлое.

«Это просто игра», — повторила она про себя, стараясь унять дрожь, которая поднималась откуда-то из глубины, из самой крови. Она наклонила ложку над ключом, собираясь вылить воск в воду…

И вдруг всё изменилось.

Вместо весёлых возгласов подруг — гробовая тишина, в которой слышался лишь шёпот, похожий на ветер в заброшенной часовне. Вместо тёплого света свечей — тусклое мерцание факелов, чадящих от сырости. Вместо запаха воска и печёных яблок — запах сырой земли, плесени и чего-то горького, металлического. Вместо смеха — глухой, размеренный стук капель воды о камень, падающих с каменного свода в невидимую лужу.

Она больше не стояла в гостиной, окружённая подругами. Она была там. В темнице.

Низкий потолок давил, камни были покрыты зелёным налётом, а воздух казался густым, как студень. На стене перед ней металась тень — размытая, бесформенная, похожая на рваное облако дыма. Но постепенно она начала трансформироваться, обретать очертания. Это была женщина. Женщина, похожая на неё саму до дрожи, но старше, измученная, с лицом, на котором годы оставили глубокие борозды. Она полулежала на грязном каменном полу, прислонившись спиной к стене. Рваное платье открывало синяки на бледной коже, на губах запеклась кровь, а в глазах горела упрямая, непокорная искра.

Женщина медленно подняла глаза — и её взгляд пронзил Даниэлу насквозь, будто она смотрела не на девушку, а прямо в её душу, в самую суть её крови. Она открыла рот и начала читать какое-то воззвание. Слова давались ей с трудом, царапали горло до хрипа, но она не останавливалась, словно от этих слов зависело всё:

«Sângepentrusânge. Pământpentrupământ. Umbrapentruumbra…» (Кровь за кровь. Земля за землю. Тень за тенью…)

Даниэла почувствовала холод каменного пола сквозь тонкое тряпьё, в которое была одета женщина. Почувствовала вкус собственной крови во рту от прокушенной губы. Эхо этого хриплого шёпота зазвучало прямо у неё в ушах, перекрывая все остальные звуки:

«…Eu vin. Eu chem. Eurămân. Fie ca pământulsămăînghită… sausămănască!» (Яиду. Я зову. Я остаюсь. Пусть земля меня поглотит… и возродит!)

Видение оборвалось так же резко, как и началось. Даниэла отшатнулась назад, роняя ложку с застывшим воском на пол. Металл глухо звякнул, и этот звук вернул её в гостиную, к свету, к теплу, к лицам подруг.

— Что с тобой? — встревоженно спросила Магдалена, бросаясь к ней и подхватывая под локоть. — Испугалась? Воск принял страшную форму?

— Просто… закружилась голова, — прошептала Даниэла, пытаясь унять бешено колотящееся сердце, которое, казалось, хотело вырваться из груди. Голос звучал чужим, далёким, будто принадлежал кому-то другому.

— Ну, бывает, — усмехнулась Юстина, склоняясь над миской с водой и разглядывая застывшую фигуру. — Наверное, воск застыл в виде черепа. Вот и напугалась. А я вот вижу тут явное сердце! Значит, любовь!

Подруги уже забыли о ней, вернувшись к своим фигурам из воска и бурному обсуждению будущего. Кто-то смеялся, кто-то спорил, кто-то пытался разглядеть в бесформенных каплях знаки судьбы. Никто не заметил, как Даниэла украдкой ощупала шею под высоким воротником платья. Там, на коже, проступал синяк странной формы — полумесяц, оплетённый тонкими линиями, похожими на корни старого дерева, будто кто-то сжал её горло невидимой рукой.

Она посмотрела на свои руки. На кончиках пальцев застыли капли воска — тёмные и глянцевые в свете свечей. Они были похожи на капли крови, застывшие в холодном воздухе.

«Это просто игра», — снова сказала она себе. Но сердце почему-то отказывалось в это верить. Оно билось тяжело, глухо, в такт тому самому стуку капель о камень, который всё ещё звучал у неё в ушах.

Бабушка, видя, как с каждым годом внучка всё больше отдаляется от мира живых, погружаясь в мир теней и древних легенд, приняла непростое решение. Если кровь зовёт на юг, значит, нужно ехать на юг. Но, конечно, не одной.

Согласно строгому этикету того времени, путешествие незамужней девушки должно было быть максимально безопасным и скучным. Так Даниэла в сопровождении строгой гувернантки (мисс Хиггинс, чопорной англичанки, которая считала все местные легенды «варварскими сказками»), двух угрюмых камердинеров и целого каравана с багажом отправилась в Валахию.

Целью визита были дальние родственники бабушки по материнской линии — обедневший, но гордый боярский род, чьё имение затерялось в предгорьях Южных Карпат. Путь был долгим и утомительным. Даниэла смотрела из окна кареты на меняющийся пейзаж: унылые равнины Польши сменялись зелёными холмами Трансильвании, а затем… появились они.

Сначала это были просто тёмные кляксы на горизонте, едва заметные среди серой пелены дождя. Но с каждым днём пути они росли, нависая над миром, словно спящие гиганты, готовые пробудиться от долгого сна. Карпаты. Горы Даков. Сердце её зова. С каждым километром воздух в груди становился легче, будто с неё снимали невидимые цепи.

Когда кортеж прибыл в имение — приземистый каменный дом с маленькими окнами-бойницами, похожими на настороженные глаза, — Даниэла почувствовала себя птицей, которую заперли в слишком тесной клетке. Дом стоял в низине, укрытый от ветра, и оттого воздух здесь казался неподвижным, спёртым. А ей хотелось ветра. Ей хотелось простора.

Но воздух здесь всё же был другим: густым, пахнущим смолой, влажной землёй и свободой, которую нельзя было увидеть, но можно было почувствовать кожей. Ночью она не могла уснуть. Ей казалось, что сами стены дома шепчут ей на древнем языке, и слова эти были не приветствием, а напоминанием: «Ты пришла. Теперь слушай».

Через неделю «светской» жизни, состоящей из скучных обедов, чинных бесед о погоде и обязательных молитв, чаша её терпения переполнилась.

«Это не моё место. Моё место — там», — билось в висках, заглушая даже мерный голос священника, читавшего вечернюю молитву.

Под предлогом головной боли она отослала служанку и выскользнула из своей комнаты через окно второго этажа — навык, отточенный ещё в Литве, когда она ночами сбегала в библиотеку, чтобы читать при свете одинокой свечи. Сад она пересекла за считанные минуты, бесшумно, словно тень, и нырнула в спасительную тень подлеска.

Здесь, среди деревьев, где лунный свет едва пробивался сквозь густую листву, она сорвала с себя ненавистный корсет и тяжёлые юбки, которые сковывали движения, будто кандалы. Под ними оказалось то самое льняное платье с дакийской вышивкой — простой, грубый наряд, который теперь казался ей доспехом. Она достала из потайного кармана свой бронзо-

вый амулет и сжала его в ладони. Металл был тёплым, почти горячим, будто ждал этого прикосновения.

Она бежала вверх по склону, не чувствуя усталости. Её ноги сами находили тропу, которую не заметил бы ни один местный житель: узкий проход между валунами, едва заметную цепочку камней над обрывом, изгиб ручья, который вёл не вниз, а вверх. Это была не случайная прогулка. Это был путь домой.

К закату она достигла вершины одного из холмов. Перед ней раскинулась долина, залитая алым светом уходящего солнца, а за ней — стена гор, уходящая в небо, тёмная и величественная, как спина древнего зверя. Ветер здесь был неистовым. Он рвал её волосы и платье, но не холодил кожу — напротив, согревал, будто признавал в ней свою.

Даниэла упала на колени на голый камень и прижала ладони к земле. Холод камня проник в её руки, а затем — в самое сердце.

И мир взорвался.

Шёпот камней превратился в оглушительный рёв, в грохот тысяч шагов, в звон мечей и крики воинов. Тысячи голосов предков зазвучали в её голове — на языке, который она не знала, но понимала всем своим существом, каждой клеткой тела. Она видела их: воинов в шлемах с волчьими головами, жриц с раскрашенными лицами, видела падение Сармизегетузы, языки пламени, пожирающие стены крепости, и дым, застилающий небо. Видела Децебала на скале, гордого и непокорного, и Волчицу Ночи у его ног, чьи глаза горели холодным огнём.

Слово «Свобода» перестало быть просто вибрацией или эхом. Оно стало осязаемым. Оно пахло озоном после грозы и железом, кровью и дымом костров. Оно звенело в воздухе, как натянутая струна.

Она поняла всё.

Она — не просто Дакиовилл. Она — наследница крови даков. Крови Децибала. Хранительница их памяти, их боли, их гордости. И её сила здесь, в этих горах, не была просто даром или проклятием. Она была её сутью. И здесь, среди этих камней и ветров, эта сила становилась осязаемой.

Когда она спустилась с холма обратно к имению, солнце уже село, и двор был залит бледным лунным светом. Гувернантка билась в истерике, заламывая руки и выкрикивая что-то на своём строгом английском, а местные крестьяне уже собирались идти на поиски с факелами, их лица были серьёзными и немного испуганными, будто они знали, куда могла уйти эта странная девушка.

Даниэла подошла к ним спокойно, с прямой спиной и ясным взглядом. На её лице не было ни страха, ни раскаяния. Только тишина, глубокая и спокойная, как тишина гор перед рассветом.

— Я здесь, — сказала она тихо, но голос её прозвучал твёрдо, перекрывая даже всхлипы мисс Хиггинс. — Со мной всё в порядке.

И в этот момент она действительно была в порядке. Впервые за долгое время.

Она больше не была пленницей своей крови. Она стала её королевой.

Внезапно видение оборвалось и Даниэла открыла глаза.

— Королевой… С горечью повторила она.

Крепость

С того дня, как её привезли в эту крепость на окраине имперских земель, прошло, наверное, уже два месяца. Или три. Время здесь теряло смысл, растворяясь в скрипе сапог по коридору, в лязге ключей и в тишине, которая была страшнее криков. Дни сливались в одну бесконечную серую полосу, где рассвет ничем не отличался от заката, а каждый новый рассвет лишь подтверждал: она всё ещё здесь.

Она уже не понимала, зачем её держат. В первые дни, пока страх был острым и режущим, она ждала казни. Это казалось логичным, почти милосердным. Жена изменника. Мать наследника врага. Меч — самый быстрый и чистый способ стереть род Бранковяну с лица земли. Но вместо этого её просто заперли, будто забыли на время, как забывают ненужный предмет в дальнем углу.

Это было похоже на ожидание какого-то приёма. На бюрократическую паузу, холодную и бездушную. Даниэла слышала, как стражники шептались, перебрасываясь фразами в коридоре: «Из Стамбула ещё не пришёл приказ». Для империи она была не женщиной, не матерью, не человеком — а документом, который нужно правильно оформить, подписать, заверить печатью. Пока гонцы скакали по пыльным дорогам, запрашивая инструкции у вышестоящих, её просто запирали на ночь и приносили миску остывшей похлёбки утром. И, конечно, не забывали про пытки — как напоминание, что она не забыта, что о ней помнят, просто ещё не решили, что с ней делать.

Иногда Даниэла ловила себя на мысли, что это самое страшное — не знать. Казнь была бы концом, точкой. Даже пытка имела ритм: боль приходила и уходила, оставляя после себя шрамы и память. А эта тишина ожидания разъедала изнутри, как сырость разъедала камень стен. Она заставляла сомневаться: а вдруг Роман уже не жив? Вдруг его увезли, отдали в янычары, и она никогда не узнает, где он, что с ним, помнит ли он её лицо?

Но потом она вспоминала слова Дели бея: «Он здесь. В дальнем флигеле, под надзором». И эта фраза, произнесённая с такой равнодушной точностью, становилась якорем. Пока нет приказа из Стамбула, они оба здесь. Пока она дышит, у неё есть шанс.

Однажды утром, когда тюремщик, как обычно, просунул миску сквозь решётку, Даниэла не отвела взгляд.

— Скажи мне хоть что-нибудь, — тихо, но твёрдо произнесла она, впервые сама, обратившись к нему за все эти недели. — Хоть слово. О мальчике. Он жив?

Тюремщик замер, будто услышал что-то запретное. Его пальцы судорожно сжали край миски, а глаза метнулись по сторонам, проверяя, не слышит ли кто.

— Молчи, — прошипел он, наклоняясь ближе, так что она увидела в его взгляде не жестокость, а усталость и страх. — Здесь не говорят о детях. Здесь вообще лучше не говорить.

Но прежде чем выпрямиться, он едва заметно кивнул. Один короткий, почти незаметный кивок — будто сам не хотел, чтобы его заметили. Но Даниэла успела. И этого хватило.

Он жив.

После этого она стала прислушиваться к каждому звуку, доносящемуся сверху, из-за толстых стен. К далёкому скрипу дверей, к шагам по деревянным половицам, к редким детским вскрикам, которые тут же обрывались чьей-то строгой командой. Она запоминала ритм этих звуков, складывала их в узор, пытаясь понять: где они, на каком этаже, в какой стороне крепости держат детей.

И в эти минуты, когда она прислушивалась, в ней просыпалась та самая древняя сила — не как буря, не как пламя, а как тихий, стальной стержень внутри. Она не давала забыть, кто она. Не позволяла превратиться в тень, которая только и ждёт, когда её сотрут.

«Я — Даниэла Бранковяну, — шептала она про себя, прижимая ладонь к холодной стене, словно через камень могла дотянуться до сына. — И пока я помню своё имя, пока я слышу твой голос, Роман, я не сдамся».

Приказ из Стамбула мог прийти завтра. Или через месяц. Или никогда. Но она будет готова. Когда придёт время действовать, у неё не будет права на ошибку. У неё будет только один шанс — и она его не упустит.

Её привели к нему не по коридору, а по узкой служебной лестнице — тёмной, пахнущей известью и железом, будто сама крепость здесь была не каменной, а отлитой из холодного металла. Два охранника держали Даниэлу под локти; их пальцы впивались в кожу, но она почти не чувствовала этой боли: после «любезностей» стражи гарнизона Арта такая хватка казалась почти бережной, почти заботливой.

Дверь открылась с тихим, почти вежливым скрипом — будто не в пыточную или лабораторию, а в обычную комнату, где ничего страшного случиться не может. Её втолкнули внутрь.

Даниэла едва успела заметить белизну стен — неестественно чистую, словно их специально отмывали до скрипа, чтобы скрыть следы всего, что здесь происходило. В нос ударил резкий запах спирта, едкий, выжигающий лёгкие. Ровный свет лампы над столом резал глаза, привыкшие к полумраку казематов. И тут же перед ней оказался он. Доктор.

Он не кричал, не размахивал руками, даже не смотрел ей в лицо. Он смотрел… на неё. Как смотрят на механизм, который нужно разобрать, чтобы понять, почему он работает не так, как все остальные. В его взгляде не было ни злобы, ни торжества, ни даже обычного человеческого любопытства. Только холодная, бесстрастная сосредоточенность, от которой по коже бежали мурашки.

— Раздеть, — коротко бросил он, не повышая голоса, будто речь шла о чём-то обыденном: снять плащ, отряхнуть пыль.

Слова ударили сильнее пощёчины. Даниэла рванулась, но охранники держали крепко, железные пальцы впились в плечи, не давая сделать ни шага, ни вздоха. Она хотела выкрикнуть своё имя, напомнить, кто она — Даниэла Бранковяну, мать, жена, женщина из рода, который веками держал границы, — но язык словно онемел. Остался только глухой, животный страх, который она так старательно прятала все эти месяцы, загоняя его вглубь, превращая в ярость. И вот теперь он вырвался наружу, холодный и липкий.

С неё сняли остатки одежды — ту самую изорванную, грязную ткань, которая всё ещё как будто хранила запах дома, запах сухих трав, что она клала в сундуки, запах старой бумаги и чернил, запах Романа. Теперь этот запах исчезал вместе с лоскутами ткани, и Даниэла чувствовала, как вместе с ним утекает и её вера в человечность.

Она стояла, сжав кулаки до побелевших костяшек, и смотрела не на доктора, а в угол комнаты, туда, где на полке ровными рядами стояли стеклянные банки. В них в мутной желтоватой жидкости плавали сморщенные предметы, и она не хотела думать, что это. Не хотела давать этому имена.

Доктор подошёл ближе. Не к её лицу — к её плечам, к шрамам, к венам на запястьях. Он не прикасался к ней голыми руками: на нём были тонкие кожаные перчатки, и они шуршали, когда он проводил пальцами по её коже, отмечая линии старых ран, изучая, как заживает свежая ссадина на ключице, будто сравнивал её с какой-то невидимой схемой.

Он не задавал вопросов. Не спрашивал, больно ли ей, страшно ли, помнит ли она, как получила тот или иной шрам. Для него это не имело значения. Он просто фиксировал. Запоминал. Измерял.

Когда он наклонился, чтобы рассмотреть её зрачки, Даниэла впервые посмотрела ему в глаза. И не увидела там ничего. Ни гнева, ни похоти, ни даже обычного человеческого любо-

пытства. Только холодную, бесстрастную сосредоточенность. Как если бы он изучал каплю воды под линзой, пытаясь понять, почему она не замерзает при минусовой температуре.

— Регенерация ускоренная, — тихо произнёс он, скорее самому себе, чем кому-то ещё, будто диктовал невидимому секретарю. — Следы множественных травм. Старые и новые. Организм адаптируется к стрессу нестандартным образом.

Он сделал шаг назад, кивнул охранникам.

— Одеть. Вернуть в камеру.

И отвернулся, уже думая о чём-то другом — о следующей строчке в своём блокноте, о следующей цифре, о следующем «объекте».

Даниэлу снова схватили за локти. Ей вручилиеё лохмотья, и она торопливо прикрылась грубой тканью, почти не заботясь о стыде, словно стыд был роскошью, которую она давно утратила. Повели прочь.

Но прежде чем дверь захлопнулась, отрезая её от этого стерильного, безжалостного света, она успела заметить, как доктор открывает лежащую на столе папку. На обложке чёрными, чёткими буквами было выведено: «Объект №17».

Она не знала его имени. Не знала, откуда он пришёл, кто его послал и зачем. Но она поняла главное: для него она не была женщиной. Не была даже жертвой. Она была объектом. Уравнением, которое он собирался решить, таблицей, которую нужно заполнить.

Пока её вели обратно по тёмной лестнице, Даниэла сжала зубы так, что в висках застучала кровь. Она не плакала. Не кричала. Она собирала эту боль, этот стыд, этот холод в тугой узел внутри себя — не чтобы сломаться, а чтобы он стал топливом.

«Пусть записывает, — думала она, чувствуя, как грубая ткань царапает плечи, как каждый шаг отдаётся в измученном теле. — Пусть пишет свои цифры. Пусть думает, что я — только строчка в его папке. Но я — не объект. Я — мать. И пока у меня есть эта ярость, у меня есть сила. А значит, у Романа есть надежда».

Древняя кровь в её жилах шевельнулась не как буря, а как ровный, стальной поток. Она не обещала лёгкого пути. Она даже не обещала останетсяли Даниэла просто записью в чужой папке. Она просто шевельнулась и пропала.

В лаборатории было тихо — только тихо шипел пар в одной из колб, да изредка позвякивали инструменты, когда ассистент неловко задевал поднос. Кронин стоял у стола, склонившись над записями, и его перо скользило по бумаге с монотонной, пугающей регулярностью — будто не выводило буквы, а отсчитывало секунды чужой жизни.

Ассистент — бледный юноша с дрожащими пальцами — стоял рядом, сжимая в руках папку с бумагами. Он хотел что-то сказать, но боялся нарушить эту стерильную тишину, в которой даже дыхание казалось лишним.

— Господин Доктор … — наконец решился он; голос прозвучал слишком громко в этой комнате, и юноша тут же съёжился от собственной смелости. — Мы взяли достаточно образцов. Может быть, сегодня… не стоит продолжать?

Кронин не поднял головы.

— Достаточно — это когда я получу ответ, — спокойно ответил он, продолжая писать, не пропуская ни строчки, ни запятой. — А ответа пока нет.

— Но она… она ведь человек, — тихо, почти шёпотом, произнёс юноша, будто сам стыдился этих слов, как чего-то неуместного здесь, среди колб и таблиц. — Она едва держится на ногах. Если мы продолжим в том же темпе…

Кронин наконец поднял глаза. Не со злостью — с лёгким, почти научным недоумением, словно ассистент сказал что-то, не имеющее отношения к делу, вроде «небо синее» посреди расчёта траектории снаряда.

— «Человек» — слишком расплывчатое понятие, Фёдор, — мягко, почти терпеливо объяснил он. — Для меня она — носитель уникальных физиологических параметров. Её кровь не сворачивается так, как должна. Её тело восстанавливается быстрее, чем позволяет биология. Это не норма. Это аномалия. А аномалии нужно изучать, пока они не исчезли.

Фёдор сглотнул, пальцы крепче сжали папку, так что бумага захрустела.

— Но… разве мы не можем дать ей хотя бы день отдыха? Просто чтобы она… пришла в себя.

Кронин отложил перо, снял очки и протёр их краем рукава. Движение было почти усталым, но в глазах усталости не было — только сосредоточенность, будто он прикидывал, сколько переменных придётся пересчитать, если ввести в эксперимент новый фактор.

— Отдых исказит результаты, — ровно сказал он. — Мы должны фиксировать состояние организма в динамике. Если она восстановится сама — это один набор данных. Если нет — другой. Любая деталь важна.

— А если она умрёт? — вырвалось у ассистента, и он тут же зажмурился, будто хотел стереть эти слова из воздуха.

Кронин помолчал, будто действительно взвешивал этот вариант, как взвешивают груз на точных весах.

— Тогда мы получим ещё один важный результат, — наконец произнёс он. — Смерть тоже можно изучить.

Фёдор побледнел ещё сильнее, если это вообще было возможно. В его глазах мелькнуло что-то похожее на отчаяние.

— Вы говорите так, будто она… не живая.

Кронин снова надел очки, посмотрел на ассистента долгим, спокойным взглядом — не с презрением, а с тем особым терпением, с каким объясняют очевидное ребёнку или упрямому коллеге.

— Она живая, — согласился он. — Но для науки её жизнь — это процесс. А процессы нужно документировать. Не осуждать. Не жалеть. Просто фиксировать.

Он снова склонился над бумагами, взял перо, будто разговор уже был окончен, исчерпан, как исчерпаны все аргументы, не имеющие отношения к цифрам.

— Подготовьте всё к завтрашнему тесту, — произнёс он буднично, как распорядился бы насчёт доставки реактивов. — Мы проверим пределы её выносливости. И проследите, чтобы ассистент, который будет помогать, не проявлял… лишних эмоций. Они мешают точности.

Фёдор кивнул, хотя внутри у него всё сжималось от ужаса и стыда — стыда за свою слабость, за то, что он вообще смеет чувствовать, когда здесь нужна только точность. Он вышел из лаборатории, стараясь не смотреть на стеклянные банки вдоль стены, на мутные жидкости и сморщенные предметы внутри, на всё то, что когда-то тоже было «живым процессом». Но он знал: завтра он снова вернётся. Потому что так было нужно. Потому что наука требовала данных.

А Кронин остался один. Он ещё долго сидел, глядя на свои записи, на ровные строчки, на цифры, которые обещали ему ответы на вопросы, мучившие человечество веками. Для него не существовало жалости. Не существовало вины. Была только истина — холодная, беспристрастная, требующая жертв. И он был готов идти к ней до конца.

И где-то в глубине крепости, в сыром каземате, Даниэла прижималась спиной к ледяной стене, чувствуя, как по коже ползёт холод, а в груди горит упрямое, непокорное пламя. Она не знала ни о колбах, ни о записях, ни о том, как её тело раскладывают на параметры и аномалии. Она знала только одно: завтра будут снова пытки, похожие на опыты. Завтра её снова поволокут по тёмным переходам, снова заставят стоять под холодным взглядом какого-то коновала, пока он будет что-то отмечать в своих таблицах. Завтра она снова будет кричать — и не от слабости, а потому что боль просто вырывалась из груди, не спрашивая позволения. Возможно, она снова

упадёт в обморок от слабости или от того, как резко отступает сознание, спасая её от того, что происходит в этой стерильной комнате.

Но, приходя в себя, она каждый раз ловила эту мысль, как соломинку: я не сломалась. Ещё нет. И пока есть хоть малейшая надежда, она будет жить.

Даниэла сидела, прижавшись спиной к ледяной стене, и чувствовала, как дрожь то накатывает волнами, то ненадолго отступает, оставляя после себя звенящую пустоту. Зубы стучали, и она кусала губы, чтобы этот стук не превратился в плач. Плач был роскошью, которую она не могла себе позволить: он забирал силы, а силы ей были нужны.

«Пусть будет больно, — шептала она про себя, стискивая пальцы так, что ногти врезались в ладони. — Пусть они думают, что ломают меня. Пусть слышат мой крик. Но пусть не слышат, как я сдаюсь».

Перед глазами вставало лицо Романа — не настоящее, уже немного расплывшееся от времени и слёз, а то, каким она хотела его помнить: с ямочкой на щеке, когда он смеялся, с упрямой складкой у рта, когда пытался быть серьёзным, как взрослый. И от этого воспоминания холод отступал хоть на миг, и в груди загорался крошечный, но упрямый огонёк.

«Я держусь, Роман, — беззвучно шептала она, прижимая ладонь к стене, будто через камень могла дотянуться до него. — Я ещё держусь. И я приду за тобой. Чего бы мне это ни стоило».

Древняя сила в её крови шевелилась не как буря, а как ровный, стальной поток, который не гаснет даже в самой глубокой тьме. Даниэлазнала, что пока в её груди бьётся сердце, пока она слышит в памяти его смех, она не станет просто строчкой в чужой папке. Она будет бороться. Даже если завтра ей снова придётся кричать. Даже если завтра она снова потеряет сознание от боли. Даже если каждый вдох будет даваться с трудом.

Потому что надежда — это не свет в конце туннеля. Иногда это просто крошечная искра в полной темноте. И Даниэла берегла эту искру, прятала её глубоко внутри, прикрывая от ледяного ветра всеми своими шрамами, всей своей болью, всем своим упрямством.

Приказ из Стамбула мог прийти завтра. Или через месяц. Или никогда. Но она будет готова. Когда придёт время действовать, у неё не будет права на ошибку. У неё будет только один шанс — и она его не упустит.

Поздний вечер. В кабинете было тихо. Лампа отбрасывала на стол круг жёлтого света, в котором лежали бумаги, схемы, графики — и тонкая папка с надписью «Объект №17».

Кронин сидел в кресле, откинувшись на спинку, и смотрел в темноту за окном. Там, за стеклом, не шёл снег — в этих предгорьях Эпира он был редкостью. Вместо него с неба лился косой, упрямый дождь, тяжёлый и холодный, будто сам воздух решил стать водой, чтобы стереть с земли все следы. Капли били по подоконнику, стекали по стеклу мутными дорожками, размывая очертания башен и делая мир за окном бесформенным, зыбким.

Кронин невольно поёжился и плотнее запахнул халат. В такие сырые вечера в груди что-то сжималось, дыхание становилось коротким и колючим, а в висках начинала пульсировать тупая, въедливая боль. Он старался не замечать этого, привычно отгораживаясь от дискомфорта стеной воли и работы.

Он думал о ней. Не как о женщине. Не как о матери. А как о загадке, которую он обязан разгадать, потому что загадки не терпят неопределённости.

«Объект №17, — мысленно повторил он, словно пробуя слова на вкус. — Уникальная комбинация факторов. Ускоренная регенерация. Повышенная устойчивость к боли. Нестандартная реакция на стресс. И при этом — поразительная способность сохранять когнитивные функции даже в условиях крайнего истощения. Почему?»

Он взял со стола лист бумаги и начал чертить на нём какие-то формулы, линии, стрелки, соединяющие одно с другим. Его пальцы двигались уверенно, привычно — так, будто мир был

просто сложной системой уравнений, которую можно свести к нескольким понятным переменным.

«Если предположить, что её организм вырабатывает неизвестный фактор роста… или если речь идёт о мутации на её животном уровне… тогда можно попытаться выделить этот компонент. Создать сыворотку. Найти способ воспроизвести этот эффект. Представить только: армия, которая не чувствует боли. Солдаты, которые не умирают от ран. Медицина, способная победить старение…»

Мысль завораживала. Обещала величие. Обещала изменить мир. Обещала найти лекарство от болезней. И в этом обещании было что-то почти священное — не религиозное, а научное: возможность преодолеть границы, которые природа поставила человеку.

Но где-то на краю сознания мелькала другая мысль — та, которую он старательно отгонял, как отгоняют назойливую муху, мешающую сосредоточиться над тонким механизмом.

«А если это не биология? Если это… нечто иное?»

Кронин поморщился, словно от неприятного привкуса. Он не верил в мистику. Не верил в проклятия и древние силы. Для него существовали только факты. Только цифры. Только проверяемые гипотезы. Всё остальное было просто шумом, искажающим сигнал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.